

Источник: Тендряков В. Ф. Находка : [повесть] / В. Тендряков ; рис. М. Клячко // Наука и религия. — 1965. — № 1. — С. 27-38 ; № 2. — С. 7-19.

НАХОДКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов, по прозвищу Карга, возвращался с Китьмаревских озер.

Стояла гнилая осень, машины не ходили. Пришлось шагать напрямик, восемнадцать километров до Пушозера через лес — не впервой.

На берегу Пушозера живет знакомый лесник. Он перевезет его на другой берег — на веслах каких-нибудь километра два и того меньше, а там — обжитой край, не эта дичь несусветная. Там — село Пахомово, гравийная дорога среди лугов и полей до самого райцентра.

День, заполненный промозглой сыростью, так и не разгорелся. С самого утра тянулись унылые сумерки. Сейчас, к вечеру, он не угасал, а скисал.

Тупой равнодушной свинцовостью встретило Трофима озеро. Хилые облетевшие кусты, темный хвостец у топких берегов и где-то за стилой, обморочно неподвижной гладью — мутная полоса леса на той стороне.

В сыром воздухе запахло дымом. Трофим сначала заметил черный раскоряченный баркас, до бортов утонувший в хвостце, и через шаг, на берегу у костра, — людей в брезентовых плащах и рыбацких, мокро лоснящихся робах.

«Должно быть, пахомовские. Ловко подвернулись — сразу и перебросят через озеро, долго ли им...» — Трофим направился на костер. Его заметили, к нему повернули головы...

Но по тому, как полулежавший рыбак резко сел; по тому, как напряженно застыли остальные, по их замкнутым лицам, настороженно направленным глазам он почувствовал: «Эге! Пахнет жареным...» Как у старой охотничьей собаки, которой уже не доступен азарт, появляется лишь вошедшее в кровь мстительное чувство при виде дичи, так и Трофим Русанов испытал в эту минуту злорадный холодок в груди: «В чем-то напаскудили стервецы. Ишь, рожи вытянулись». Исчезла в теле усталость, расправились плечи, тверже стал шаг, и лицо само по себе выразило сумрачную начальническую строгость.

Он не умел задумываться, но взгляд на мир имел твердый — не собьешь. Нужно соблюдать закон, а так как из года в год приходилось сталкиваться, что

рыбаки-любители норовили пользоваться запрещенной снастью, рыбаки из артелей сбывали на сторону рыбу, в колхозах приписывали в сводках, в сельсоветах за пол-литра покупались справки, то он сделал простой и ясный вывод — все кругом, все, кроме него, Трофима Русанова, жулики. Он мог целыми неделями не ночевать дома, спать в лодке, прятаться в кустах, высматривать, выслеживать — лишь бы уличить в незаконности. К нему прилипла кличка Карга, ему порой высказывали в глаза, что о нем думают, а Трофим отвечал: «Не хорош?.. Коли б все такие нехорошие были — жили б, беды не знали. Эх, дрянь народ, сволочь на сволочи...»

Он подошел к рыбакам. Трещал костер, над огнем, перехваченный за ушки проволокой, висел чугунный бачок, в нем гуляла буйная пена. К дыму костра примешивался вкусный, вытягивающий слюну запах наваристой ухи.

— Здорово, молодцы! — поприветствовал Трофим.

Пожилый рыбак — из жестяно-твердого брезента торчит сморщенное щетинистое лицо — отвел в сторону слезящиеся от дыма глаза, ответил сдержанно:

— Здорово, коли не шутишь.

— А запашок-то царский...

Парень — исхлестанная ветром и дождем широкая физиономия словно натерта кирпичом, вымоченно льняная челка прилипла ко лбу, глаза голубовато-размыленные, с наглым зрачком — пододвинулся.

— Садись, угостим, раз позавидовал.

Трофим был голоден (днем на ходу, под елкой перехватил кусок хлеба), от запаха сладко сжималось в животе, но он с непроницаемо-сумрачным лицом нагнулся, приподнял палку, переброшенную через рогульки, вгляделся в уху.

— Так, так... Сиг.

Рыбаки молчали.

— Ты — бригадир? — спросил Трофим старика в брезентовом плаще.

— Знаешь же, чего и спрашиваешь, — с ленивой неприязнью ответил тот.

— Климов, кажись, твоя фамилия?

— Ну, Климов...

— Значит, мне на тебя придется документик нарисовать... Чтоб рассмотрели и наказали.

— Короста ты.



— А оскорбления мы особо отметим. Не меня оскорбляешь, а закон.

— Не дури, отец,— вступился парень.— Велика беда— рыбешку в уху сунули. Мед сливать да пальцы не оближать.

— Вот-вот, мы по пальцам. Подписывайте, что положено. Сегодня в котел, завтра — на базар. Знаем вас. Ну-кося.

Ценные породы — семгу, сивог — рыбакам-любителям запрещалось ловить совсем. Рыболовецкие же артели обязаны сдавать государству каждую пойманную семгу, каждого сига. Таков закон. Но кто полезет проверять артельный котел. То, что после улова в уху шли не окунь, не щука, не лещ или плотва, этот вездесущий плёбс озерных и речных вод, а благородные — считалось обычным: «Мед сливать да пальцы не оближать». Даже инспектора рыбнадзора снисходили — пусть себе, но не Трофим Русанов. И он знал, что если составить форменную бумагу, пустить ее дальше — отмахнуться будет нельзя. Каждого, кто отмахнется, попрекнут в попустительстве. Знали это и рыбаки. Они угрюмо молчали, пока Трофим, присев на корточки, огрызок карандаша выводил закорючки на бланке.

— Значит, все,— поднялся он, смахивая ладонью вытравленную дымом слезу из глаз.— Так-то, по справедливости.

Старик, продернув щетинистым подбородком по брезентовому вороту, произнес:

— Молчал бы. А то обгадит да покрасуется — по справедливости.

Парень недобро сощурил наглые глаза.

— Может, теперь сядешь, незаконной ущицы отведаешь? Накормим.

Слова старика не задели Трофима — привык, не без того, каждый раз — встреча с ошупкой, расставание со злобой, и если б не парень с его ухмылкой и прищуром, он бы с миром ушел. Но парень издевался, и Трофим решил показать себя — пусть знают. Еще шире развел плечи, свел туже брови под шапкой, нутряным, спокойным голосом объявил:

— Нет, парень, ущицы этой и ты не отведаешь. Не положено.

Шагнул к костру, сапогом сбил с рогулек палку, перевернул бачок. Костер разъяренно затрещал, густой столб белого дыма, закручиваясь, пошел вверх. Сытный запах, казалось, залил мокрый, унылый мир с чахоточными елочками, перепутанными кустами, хвостцом и замороженно застойной водой озера.

— Не положено. Шалишь.

Рыбаки не двинулись. Старик холодно, без удивления и злобы глядел Трофиму в лоб. А парень, опомнившись, вскочил, невысокий, нескладно широкий в своей прорезиненной куртке и сапогах до паха, лицо в парной красноте, кулаки сжаты.

— Но-но... — Трофим тронул приклад ружья.

Парень стоял, мутновато-светлыми, бешеными глазами разглядывал Трофима.

Тот был выше парня, едва ли не шире в плечах, лицо обветренное, не в морщинах, а в складках, глубоких, крепких, чеканных, вызывающих по первому взгляду уважение, — бабы тают от таких помужички породистых лиц. Топорщится замызганный плащ поверх ватника, рука лежит на прикладе.

— Брось, Ванька, не пачкайся, — посоветовал негромко старик.

Парень перевел дыхание.

— Одеть бы бачок на морду да в воду.

— Брось, Ванька...

— Эх, дерьмо люди, — с презрением процедил

Трофим. — Ни стыда ни совести. Набеззаконничают да еще петушатся... Да что с вами толковать лишка, Дело сделано. Увидимся еще, чай.

Он подтянул на плече ремень ружья, повернулся и зашагал по берегу — шапка сдвинута на затылок, плечи разведены, в походке внушительное достоинство человека, только что совершившего нужное, благородное дело.

Шесть рослых и сильных мужиков молча смотрели ему вслед.

А среди тлеющих головней скворчало мясо свалившейся в костер рыбы, мутноватый дым тек в сером воздухе, и стоял запах, как возле печи перед праздником.

2.

Лесник Гурьянов Анисим жил рядом — крепко рубленный, приземистый дом на юру, стожок сена, огороженный от лосей, усадьба с раскисшими от осенних дождей грядками и добротная банька на отшибе.

Хозяин — высокий, костлявый не только нескладным телом, но и длинным лицом, глаза голубые, большие, с непонятной робкой горечью, какие-то бабьи, тонкие губы вечно сведены, словно вот-вот изумленно свистнет. Он сильно побаивался Трофима Русанова, может быть, потому, что не безгрешен, — живет в глухоте, сам себе во князях, может при случае лося порушить, хотя должен следить, чтоб другие не баловали, и уж, конечно, если запретная семга сядет у него на крюк, выбрасывать в озеро не станет. Трофим его презирал. «Дрянь народ» — отнесил без оговорок и к леснику.

Анисим, морща в улыбку сведенные губы, хлопая желтыми ресницами, позвал к столу:

— Не богато ныне наше застолье, ну да, чем бог послал.

А жена Анисима, тяжелая баба, пол скрипит, когда ходит, была откровеннее — скупо кивнула гладко забранной головой, постно поджала губы, ни «милости просим», ни «ешьте на здоровье», в гробовой немоте наставила чашек на стол, ушла с глаз долой.

Чтоб умаслить нежданного гостя, Анисим выставил на стол почтунью бутылку, морщась в застенчивой улыбочке, предложил:

— С устатку-то славно... С кой-то поры первачок остался.

Трофим выпил, почувствовал теплоту, с теплотой радость и довольствие собой: он кремень, а не человек, должны бы понимать — не ради корысти прижимает, жди — поймут. Так как никого другого под рукой не оказалось, стал распекать Анисима:

— Кто в этом краю начальник? Ты!

— Оно видно, рукой не достанешь, — улыбался Анисим. — Десяток зайцев по лесу шныряют — ко-мандую.

— Не может земля без закона жить. Под носом у тебя рыбаки в котел сивог натолкали. Где закон? Нету его. С кого спрос? С тебя... Сегодня я прекратил безобразия, завтра-то меня здесь не будет...

Анисим кротко поглядывал в потное окно, к которому жалась беспросветная лесная темень, омраченная сыростью затянувшейся осени, проговорил безнадежно:

— Сегодня-то уже, видать, не попадешь на тот берег... Где там, хоть глаз выколи.

И Трофим понял: готов хоть сейчас, на ночь глядя, сесть за весла, сплавить его подальше от дому. Не любит, а улыбается, самогончик выставил — эх, люди, ни в ком нет прямоты.

— Утром едем, да пораньше, — сказал Трофим. — Куда ты меня примостишь?

Невнятный свет разбавил угрюмую черноту ночи до зыбкой синевы. Едва-едва различались тщедушные, искалеченные ветром ели. То ли туман лип к лицу, то ли моросила водяная пыльца.

— Экое утро помойное, — вздыхал Анисим.

Он был в плаще, туго стянутом ремнем, в ушанке со спущенными ушами, маленькая голова, широкий зад — похож на осу, готовую при неловком движении переломиться пополам. Трофим Русанов, выспавшийся, плотно подзакусивший, с легкой ломотцей в теле после вчерашней «пробежечки», довольный тем, что сегодня-то будет наконец дома, шагал следом, умиротворенно молчал.

Как и всюду, берег озера был топким — сначала тянулась жесткая неувядающая осока, потом темный хвостец, и только вдалеке просвечивала чистая вода. Ступили на лаву, связанную на живую нитку, — пара жердей да держись за воздух. Нескладный Анисим привычной ощупочкой выступал впереди. Вдруг он остановился, словно споткнулся, стоял с минуту, поводя туго облегающей голову шапкой.

— Вот так раз...

— Чего там?

— Лодки-то нету.

— К каком-то-то смысле?

— Да смыслу-то, паря, не вижу.

Лодки не было. Среди густого хвостца — смолисто-черная плешинка воды; место, где лодка стояла. В сторону озера хвостец помят, намечена проточина. Этим путем обычно выбиралась к чистой воде лодка. Анисим и Трофим балансировали на жидких жердях.

— Пошли, как бы не обвалилось, — посоветовал Анисим.

На берегу они присели на плоский валун, веками оседающий в заболоченную землю. Закурили, озадаченно вглядываясь в томящееся в мутном осеннем рассоле озеро.

— Может, сам куда завел спяна да забыл? — с надеждой спросил Трофим.

— И в молодости до того не напивался.

— Не черти же лодку уволокли. Здесь людей не бывает.

— Бывают. Сам видел.

— Рыбаки? Пахомовцы! — Трофим и раньше об этом догадывался.

— Ты им, видать, круто насолил.

— Ах, бандиты! Да я им!..

— Обожди стращать. Пораскинь, как выберешься. Окромья моей на этом берегу ни одной лодки больше нет.

И Трофим замолчал. Он только теперь понял, что попал в переплет.

Пушозеро не широко, но длинно — путаной, изгибистой подковой влезает в леса, из конца в конец километров двадцать пять добрых. Обогнуть его не так-то просто. В лесах прямо не пойдешь — от озера тянутся заливы, по-местному лахты; в озеро впадают речки, но широки, но глубоки; впамя перед морозами не переберешься, но самое тяжелое — болота. С одной стороны тянется Волчья топь,

она поразмашистей самого озера. Трофим, считай, всю жизнь прожил тут, а не знает, где кончается эта топь. Заберись в нее — не вылезешь. С другой стороны тоже болото — Мокрецы. Хороши «мокрецы», когда в нем есть места — ступишь ногой на травку и ухнешь вниз, никто во веки веков не найдет. За два дня едва ли переберешься на тот берег — жилы вытянет. А село Пахомово рядом, из-за леса колокольня маячит на том берегу. Всего-то на веслах, не спеша — час от силы. Ни одной лодки! Знали, чем укусить, подлый народ.

— Может, плот, — неуверенно предложил Трофим. Уж очень не хотелось двое суток блуждать по лесу.

— Плот-то... — Анисим помедлил. — Ежели б лес рос у берега.. У берега-то жердь добрую не вырубшь. За полкилометра таскать бревна на горбу. Пока свалишь, пока притащишь, сколачивать на воде придется. Нынче не лето... Плот — маята, проще обещать.

Трофим молчал.

Анисим смял сигарку.

— Конфуз...

И лицо у него в самом деле было конфузливо.

— И ни соли, ни сахара в доме да и хлеба чуть. За всем езжу на тот берег. И сейчас вот метил — провожу тебя и отоварюсь... Пока ты здесь, эти пакостники лодку не приведут. Не-ет, не смилуются. Будем мы с тобой кочерыжки капустные грызть...

Трофим понял: его, нежеланного гостя, любым путем хотят спровадить. Даже не обиделся — до того ли в эту минуту.

— Не плавом же мне...

— Конфуз...

— Обходить-то изведешься.

— Ты же к лесу привычный. Места вроде знаешь. Ночь под крышей ночуешь. На Копновских покосах курная избушка стоит. А уж там пораньше встаешь, поднадляжешь и, глядишь, доберешься до темноты. Я тебе сальца дам, хлеба, котелок, чтоб чайком горячим побаловаться. Как ни раскидывай, по-другому-то не выпутаешься... Не приведут стержевцы лодку, не-ет. А коль и приведут, то через неделю — какой расчет тебе ждать.

Трофим молчал, глядел на ольвяющее в грязном рассвете озеро. Анисим выжидательно косил на него глазом, вздыхал:

— Конфуз, право.

3.

Лес перед первыми морозами кажется черным, зачумленным краем. Даже собственных шагов не слышишь — глохнут во мху и на толстой подушке мокрой хвои. Ни шороха, ни пенья птиц, только стволы на километры, нет надежды встретить живое.

Едва обмятая тропинка. Летом по ней ходят охотники да колхозники с того берега, бросив лодки, добираются до своих дальних покосов. Зимой эту тропу может пересечь санный путь — как-то надо вывозить наметанные за лето тощие стожки. Но сейчас встретить человека здесь так же невероятно, как увидеть воочию Илью-пророка или Николая-угодника.

Иногда тропа протискивалась в чашу ельника — там сыро, темно, глухо, как в подземелье. Иногда лес обрывался одичавшей прогалинкой — торчали раскисшие будилья, лежал до краев залитый угрю-

мой водой бочажок. Тоскливая вода обреченно смотрит в тоскливое небо.

Как ни кинь, а, выходит, Анисим выгнал его, Трофима. Вздыхал ласково — конфуз-де, а выгнал хуже собаки, в лес, под дождь, в эту дичь несусветную. Не пропадешь — ладно, пропадешь — тоже не жалко. Трудно ли сбиться с пути, оторваться от озера, промахнуть мимо редких лесопунктов... Анисиму-то он не перебежал дороги.

Он не понимал, почему его не любили. Делал, что положено. Положено, чтоб ячейки сетей были такого-то размера, — он следит. Положено в таких-то местах ловить только удочкой — следит. Все, что положено, он затвердил, как таблицу умножения. Отступить от правил для него было так же нелепо, как признать, что дважды два — пять, а шестью восемь — пятьдесят. Другие инспектора по надзору делают то же, что и он, — есть среди них и строгаи, ни словом добрым не уластят, ни взяткой не купишь, а не любят его, Трофима Русанова. Почему? Он не понимал и злобился на людей. Просыпаясь утром, он уже знал, что кто-то обижен на него, кто-то затаил злобу.

Впрочем, злобу тех, кого он наказывал, Трофим переносил легко: что с них взять, не миловаться же с ними. Но когда его подводили те, кому он не давал никакого повода, терялся: «За что? Что сделал? Где же правда?» И единственное успокоение, что народ — дрянь, а он — особый.

Сейчас пустынным, неприятно-мокрым лесом Трофим нес обиду на Анисима. Не ущипнул его, не ославил — за что не любит?

Кончился ельник, моховые мочажины и унылые застойные бочаги. Начался сосновый бор. Даже в эту пору утомительной сырости, бесцветности, сумрака сосновый лес сохранил торжественность. В нем просторно, чисто, хоть и игрив в пятнашки. И почему-то назойливо ждешь жилья — вот-вот стволы расступятся, замаячат крыши. Но стволы не расступаются, идешь, идешь — никаких перемен, все та же чистая лесная чистота, молчаливая торжественность, величавость, и сам кажешься себе маленьким, затерянным, начинаешь без причины торопиться.

Опять занозой засела мысль — упади он здесь, не вернись, никто не прольет слезы. А у него была жена, взрослый сын. Сын всю жизнь сторонился отца, едва подросток — ушел из дому, теперь работает на лесокombинате, письма от него идут на имя матери. Жена жила возле него молчком — равнодушно его встречала, равнодушно узнавала, что уезжает на неделю-другую на озеро, равнодушно слушала, когда он не без торжества сообщал — такого-то припек. И ежели Трофим выходил из себя, ругался: «Квеляя какая-то, не баба, а пень!» — она без обиды возражала: «А что мне плясать перед тобой? Отплясалась, не молоденькая».

Сосновый чистый лес, он походил на мрачный прокопченный овин, бескрайняя крыша которого подперта бесчисленными столбами. Пустой овин, давно заброшенный людьми. Его вытолкнули сюда...

И узелок к узелку вязалась сладкая ненависть к Анисиму: «Найду случай, подсыплю соли на хвост тебе, старая лиса. Не без греха: семгу-то ловишь, икорку жрешь, а я тебя за рукав да соответствующий документик нарисую, да с ним — в райисполком, а оттуда — сигнал в лесхоз... Домик казенный обжил, к усадьбке приновился, пасеку держишь, корову, поросенок — ну-ка свертывайся, топорик в руки да на лесопункт...»

Сосновый бор стал мельчать. Покоробленные не

белоствольные, а рыжие березки назойливо втискивались среди разбегающихся сосен. Трофим вышел к реке, лесной, сонной — черная вода вровень с берегами. За ней — болото.

Через речку перекинута пара бревен — мост не мост, а вроде этого. Весной его унесет. Слава богу, что сейчас цел.

Трофим присел на комель, развязал мешок, достал хлеб, сало — время-то обеденное. Сидел, жевал сало, положенное Анисимом, думал о том, как он прижгет этого Анисима.

4.

Весь день он гнал себя, не давал отдохнуть. Перебирался через овраги, на дне которых невольно охватывала дрожь — сыра могила. Проходил болотца с тощим ельничком, полянки с вывалившимся лесом. Короткий предзимний день показался годом. Как будто давным-давно сидел он на берегу озера вместе с Анисимом.

Он гнал себя, чтобы добраться к курной избушке до темноты. Ночью идти нельзя — через пять шагов собьешься с тропинки, влезешь в чашу или свалишься в бочаг.

Лес и без того оголенно-черный еще грозней потемнел. Через каких-нибудь полчаса из-под корней выползет мрак и залет мир.

Но вот лес оборвался, пошел низкий кустарник, кончился и он; Трофим уперся в ручеек, узенький — шаг в ширину, вздохнул облегченно — шабаш, ночь проведет под крышей.

Незамысловато петляя, шевеля осоку, ручеек тек к озеру. На его берегу и стоит избушка с односкатной крышей. Летом здесь — веселый уголок, много солнца, много сквозной зелени, ручей же просто битком набит окуневой молодью. Окуньки длиной с ладонь хватают чуть не за голый крючок. В сенокосы здесь легко встретить людей, в избушке тогда постоянно топится каменка — не для тепла, для дыму, чтоб отгонять комаров. Сейчас кой черт занесет сюда человека.

Пробираясь вверх по ручью, Трофим чувствовал — валится с ног. Мечтал об одном: чтоб в избе возле печи были заготовлены дрова, чтоб не нужно тащить их за валежником. Затопить, растянуться на нарах, уснуть под треск каменки, под едким дымом, плавающим под потолком.

Вот и выбитая тропа, вот и бревенчатая стена, нашупал дверь, толкнул, обдало банным запахом въевшейся копоти. Внутри темно, волоковые оконца забиты сеном. Трофим скинул с онемевшего плеча ружье, высвободился от мешка, чтоб не удариться, протянул руки, наткнулся на шершавые валуны каменки. Эти валуны были не то, чтобы теплые, нет, они скорее хранили какой-то смутный след тепла. Значит, не так давно, вчера утром или позавчера вечером, они были раскалены. И это насторожило Трофима.

В ту же минуту он вдруг ощутил — кто-то есть, рядом, живой, не подающий голоса. Пот выступил под шапкой.

— Кто тут? — сипло спросил он.

И сразу же шархнулся к двери. В ответ на его голос раздался странный звук — не то бляение ягненка, не то скрипяще заскулила раненая собака.

— Мать честна! Кто здесь?

Спички были спрятаны от сырости в резиновый кисет с табаком. Он не сразу их достал. А крик продолжался, слабенький, захлебывающийся, не звериный — человеческий, чем-то очень знакомый, домашний.

Наконец спичка разгорелась в ладони, выперли из темноты лобастые валуны. Трофим направил свет на нары. Нары были пусты, никого в избе, а крик стоит.

«Под нарами, должно...» Но спичка потухла. Трофим торопливо зажег другую, шагнул к нарам, хотел уже нагнуться и только тут заметил, что в углу нар, ближе к каменке, — какой-то сверток тряпья, голос шел от него.

И снова погасла спичка...

«Чертовщина какая-то...» С третьей спичкой он заметил вязанку дров возле темного зева каменки, сверху вязанки — наколотая лучина. Схватил лучину, обломил, чтоб по ломаному концу быстрее занялся огонь. Сухое дерево затрещало, осветив горбатое нагромождение матово-черных камней, потолок и верхние венцы, глянцевитые от копоти, словно окрашенные мрачной масляной краской. Всполошив тени по бревенчатым стенам, Трофим двинулся к нарам.

Лоскутное ватное одеяло, туго свернутое, пережатое скрученными в жгуты тряпками. Из глубины свертка — сиповато-тоненький детский плач. Младенец! Один! В глухом лесу!..

Потрескивая, горела лучина, весело выплясывая,

росло пламя, то распухали, то съеживались тени. Застывший от ужаса, боясь дышать свободно, стоял коленями на нарах Трофим, горбился.

— Курва... — обронил он.

Это относилось к матери ребенка.

Ребенок осип и замолчал. Трофим со страхом, подавленностью, с какой-то брезгливостью осторожно подался назад. От горячей лучины зажег другую, вставил с наклоном между камней, так чтоб угли падали на землю, не подожгли избу.

— Ну и ну...

Он начинал понимать, что случилось.

На другой стороне озера много деревьев. Почти во всех остались следы бывшего старообрядчества. В таких деревнях девку, потерявшую до замужества девичий цвет, изведут со света. И, видать, нарвалась одна, решила спрятать концы. А уж где лучше скрыться от позора, как не в этой заброшенной избушке. Перебралась на лодке, наверно, жила неделю, две, ждала, готовилась. Сама, как умела, со всем справилась, а потом отлеживалась, кормила дитя, ползала на карачках по хозяйству. Перед отъездом, наверно, собиралась убить да закопать, но не смогла. Сунула тряпицу с жеваным мякишем в рот, повыла на прощанье — и на лодку.

— Ух, стерва! — цедил Трофим сквозь стиснутые зубы.

А ребенок снова слабо запищал. И Трофиму захотелось накинуть мешок на плечи, подхватить ружье и бежать, бежать в лес, в ночь, подальше.

Рис. М. Клячко



Матерьясь вполголоса, он полез на нары, долго шарил, нашел возле ребенка узелок — тряпица уже высохла, а хлебная кашка застужена. Отбросил.

— Таких бы своими руками...

Рядом с ребенком валялись какие-то тряпки. Трофим выбрал кусок помягче, поднес ближе к свету — чист ли? — оторвал кончик.

— Дознаться бы... Эх, дознаться — откуда? Из какой деревни?.. Живыми бы таких закапывал в землю...

Достал из мешка хлеб, уселся, замолчал, стал сосредоточенно жевать под слабый писк ребенка.

Нажевал много, понял, что такая громадная «соска» не войдет в детский рот, грязным пальцем убавил кашицы, оставил чуть-чуть.

Лица он не мог разглядеть в полутьме, осторожно, почти со страхом подсунил самодельную соску внутрь одеяла. И вздрогнул — младенец принял, плач затих, в тишине лесной избушки раздавалось сладкое чмокание. И оно резануло по сердцу Трофима. Осторожно, задом он сполз с нар, встал на ноги и разразился руганью:

— Есть же шкуры на свете! Таких гадов своими б руками!.. Кошка блудливая и та свое дитя бережет...

Ругаясь, принялся растоплять каменку. Дым по полз из щелей между камнями, стал копиться под потолком. Трофим вышиб сенные затычки из волоковых окон.

Через полчаса стало тепло, но ходить можно было только согнувшись — заполнивший верх избы дым ел глаза.

Угасла печка, выветрился дым. Чтоб не ушло тепло, пришлось снова заткнуть оконца. Трофим лежал на нарах, подальше от того угла, где находился притихший младенец. За прокопченными стенами шумел лес, глухой лес, не пересеченный дорогами. Далеки люди с их помощью. И жил рядом человеческий детеныш. Пока жил... И Трофим чувствовал, что нельзя просто уснуть и забыть, нельзя отмахнуться. И это его раздражало: «Напаскудничала, стерва, а я расхлебывай. Надо же налететь...» Он в эту минуту испытывал саднящую жалость, но не к брошенному ребенку, к себе. Не везучий, какая шишка не свалится — ему синяк, не соседу. А за это кто-нибудь хоть раз пожалел его в жизни, сказал ли кто хоть одно ласковое слово? Только мать в детстве... Помнит, прибежал с улицы, скидывал берестовые ступешки, а мать мяла в руках его красные ноги, выговаривала: «Остудишься, непутный, вот лихоманка-то хватит...» Верил бы в бога, жаловался бы: «За что ты, сукин сын, меня наказываешь? Не хуже других, не ровня, например, этой шкуре-девке, которая дитя родное на лютую смерть бросила...» Такой случай, может, один на тысячу лет выпадает, а подвалило ему, Трофиму Русанову. Надо же...

Шумел лес, не только безлюдный, но лес, где сейчас попрятался всякий зверь. Спал, насытившийся жвачкой, ребенок, равнодушный к тому, как поступит этот случайно занесенный к нему человек. А человек не испытывал дружелюбия.

Под шум леса, под тоскливые мысли Трофим незаметно уснул.

На воле уже наступило утро, в курной избе с заткнутыми окнами было темно и холодно. Открыв глаза, Трофим сразу вспомнил, что случилось вечером, вспомнил и не поверил: «Не бывает такого. Сон дурной...»

Но ребенок заплакал.

И Трофима охватил приступ беспомощной злости:

— Не задавила тебя эта сучка! Теперь няньчись! Цыц!

Чтоб только не слышать детского писка, соскочил с нар, запнувшись о приставленное к стене ружье, саданул ногой дверь. И резануло по глазам...

Еще вчера земля была нищенски темной, сейчас — ослепительно бела, празднична. За ночь выпал снег. И на этом непотревоженном снегу плясали, подбочившись, молодые березки — стволы желтые, словно теплые на ощупь. А издали, с конца поляны, хмурился еловый лес. Тот лес, куда ему, Трофиму, предстояло нырнуть.

По лесу с ребенком... Путь не маленький: один шел, да и не шел, а бежал иноходью — едва-едва от сумерек до сумерек поспел. Не разбежишься в обнимочку с младенцем, а в мешок его не положишь. И кто он ему — просто дурным ветром пригнало. Не украли б лодку рыбаки — что тогда?.. Скажем, даже возьмет. Но этот подкидывш и без того, наверно, еле жив. Лес — не люлька, Трофим — не кормилица, здесь ему умирать или же в дороге. Какой смысл тогда возиться? Умрет на руках, а потом казнить за грех какой-то сволочи. Еще ненароком собьешься с пути, закрутишься по лесу...

Яркий снег, снежно спиртовой воздух и трезвые мысли. Трофим успокоился: «Нет смысла попусту валандаться...» И сразу же на душе стало легко.

Без шапки, в распахнутом ватнике направился к лесу за валежником.

Прогорела каменка, последний дым нехотя вытягивался в волоковые окошечки. Трофим попил чаю; сытый, согретый, чуточку отяжелевший, сидел уже в плаще у развязанного мешка и с непроницаемым лицом жевал, готовя новую соску.

Он решил бросить здесь ребенка, решил твердо. Он знал, что ребенок умрет, второго такого чуда не случится — больше уже никого не занесет сюда в дремучую глушь. Соска из прожеванного хлебного мякиша оттянет смерть часа на два, на три, вряд ли на день. Разумней совсем не давать соски, но что ж можно сделать? Хоть чем-то купить совесть.

При дневном свете, падающем из волоковых оконца, было видно, что по избе прошлась женская рука: утопанный земляной пол подметен, нары вымыты, выскоблены, у порога приставлен наскоро связанный голинок. Дурная мать, верно, тоже подкупала свою совесть — прежде чем уйти, мыла, скребла, кормила младенца, обмывала, оставила запас чистых тряпок, зная, что никто уже ими не воспользуется.

И в голову Трофима пришла странная мысль, никогда такие не приходили раньше: «Конечно, девка — шкура из шкур, давить таких, чтобы землю не пачкали, но каково ей было, когда переступала порог, — только что грудью кормила, слезы лила, быть может, ласковыми словами называла и... бросить...» Трофим злобился на беспутную, потеряв-

шую совесть девку, а прогнать этих сочувственных мыслей не мог. «Знать, уж солоно пришлось, раз на душегубство решилась».

Он испугался сам за себя — посиди еще вот так и вконец раскиснешь. Решительно встал, полез в угол нар, взгляделся в глубь свернутого одеяльца — у ребенка было натужно красное личико, он, наверно, был болен. Крохотные веки закрыты, губы вытягивались. Трофим коснулся соской этих губ, они жадно приняли тряпицу, а глаза не открылись. Трофим облегченно перевел дух. Глаза несмышлениша — они не упрекнул, не поймут, но все-таки Трофим почему-то боялся взгляда этих глаз.

Торопливо схватил незатянутый мешок, ружье, выскочил на волю, на потускневший под оттепелью снежок. Вспомнил про окна, забить бы сеном, отмахнулся: «А-а, не все ли равно», — шагнул в сторону ручья, шагнул, словно оборвал пуповину.

По всей вкрадчиво сияющей поляне из-под снега торчала сухая трава, и от этого вид поляны казался щетинисто-небритый, гнусный. Горяче-черный ручей туго оплетал тесно сбившиеся еючки и кусты ивняка. Тропу занесло, Трофим ее чуть не проскошил. Прокладывая первые следы, торопливо направился к лесу. Казалось, нырнет в лес — и все забудет. Нырнет, как обмоется, — сразу покой.

Лес начался, а покой не пришел. С каждым шагом росла тревога. Почему-то беспокоило, что не заткнул окна сеном — через полчаса выстудится избушка, в ней станет холодно, как на улице. Спину прдирал легкий озноб. Там, за спиной, близится беда.

Не в пример вчерашнему лес был наряден. В темных провалах между стволов — затейливое кружево заснеженных ветвей. Какая-то игривость в лесу.

И по своей привычке Трофим стал искать виновников, распаялся в ожесточении.

«Стерва баба, мразь... Доискаться бы... На суд, на люди, чтоб глядели, пальцами тыкали... И про парня, который девку с пути сбил, дознаться... Тоже голенького — глядите. Не тюрьму бы таким полюбвишкам, не-ет, к стенке приставить...»

Но тревога росла, с отчаянья стал винить Анисима, рыбаков, что увели лодку: «Тоже — совести ни на грош. Сидят сейчас в тепле, чай гоняют. А коли услышат, что младенца мертвого в избушке нашли, что им — почешут языками да забудут... Сволочь народ...»

Но вспомнил, как сунул соску и... словно ударил по черепу, остановился...

С заснеженных еловых лап падал отяжелевший, подтаявший снег, задевал за ветки. По спящему лесу проходил вкрадчиво-воровской шорох.

Соску сунул... И маленькие, как надрез ногтем, закрытые веки, и ищущие во сне губы. Не соску искали — грудь. Нет матери, нет отца, нет защитника. Соску сунул... Мать-то хоть что-то припекло, а тебя-то что припекает?... Ведь над тобой смеяться, как над девкой, не будут. Девку ты готов — к стенке, а сам соску сунул...

Сыпался с ветвей снег, равнодушные ели окружали человека — им все равно, на что он решится.

Девку — к стенке, а сам — соску...

Трофим сорвался с места, ломая ветви, пробиываясь сквозь чащи, бросился обратно по своему следу, четко пропечатанному на снегу. Бежал бегом, хрипя, задыхаясь, пряча глаза от веток, матерясь, когда ружье цеплялось за сук.

В избушке он скинул плащ, ватник, сорвал через голову гимнастерку, нательную рубаху долго прикидывал на вытянутых руках — как по выгодней располосовать? Разорвал на две части — в одну сейчас обернет, хоть и не чиста, да суха, другую припрятчет про запас.

Ему до этого и в голову не приходило раскрыть ребенка — терпит и ладно, все равно помрет. Сейчас, когда увидел красное, до мяса созревшее тельце, не выругался, а застонал. И стон его был неумелый, походил на скулеж голодной собаки...

— Звезери! Душегубцы!.. Спасу тебя, девка... Может, спасу...

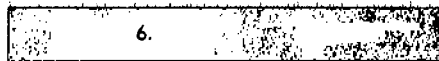
Ребенок был девочкой.

От черного ручья уже вели в лес пробитые им следы. Но он не пойдет по этим следам, нужно двигаться в обратную сторону, снова к Анисиму — ближе человеческого жилья нет.

Собираясь перешагнуть через ручей, согнулся и в черном зеркале увидел свое отражение: обросший колючей бородой, за спиной ружье, вид звериный, одичавший, а в руках одеяльце пестрой изнанкой наружу — господь одарил ребеночком.

— Хорош, — враждебно усмехнулся сам себе.

Пошел к кустам, печатая по снегу крупные следы.



К полудню сошел снег. Лес стоял измученный тяжелым, как смертельная болезнь, ненастьем.

Ноша не грузна, но нести ее мучение — никак не приспособишься. Не по утоптанной дороге шагать, в одном овраге чуть не выронил сверток в ручей.

Девчонка часто плакала. Выискивал место, присаживался поудобней, «сочинял» новую соску. Для этого кусок хлеба держал за пазухой, там же тряпки — чтоб не промокли. Соску девочка выкидывала, тоненько и сипловато кричала. Трофим ругался в отчаянии:

— Хрен тебя знает, чего хочешь.

Больше сидел, чем шел, да и вышел поздно — за весь день протащился чуть больше десяти километров. При первых сумерках, мокрый, со свинцовой ломотой в руках и плечах, среди угрюмого ельника, стал устраиваться на ночлег.

Дождь не шел, но весь воздух пропитан влагой, нечаянно задетая ветка обдает, как из ковша.

Нарезал лапника, устроил постель. Дров рубить не надо, кругом полно сушняка. Запас дров сложил в голову, чтоб были под рукой.

Разложил два длинных костра: они занялись не сразу, а когда занялись, мир замкнулся — ни елей, ни неба, подпертого колючими верхушками, только он, укутанный в ватное одеяльце ребенок да с двух сторон с бездумной веселостью пляшущий огонь.

Стало жарко. Трофим подсушил тряпки — как ни берег их, а все же влажные, — затем быстро раскрыл одеяло. Уже знакомое обваренно-красное тельце, оно беспомощно корчилося, надувалось, испускало натужные крики, но залихватски веселый треск костров заглушал слабый голосок. Наскоро вытер, подсунил чистые тряпки, поспешно закутал, утер пот с горячего лба:

— Ну вот... Лежи, приبلудная.

Искры летели вверх, в ночь, в сырость, в чужой и неприветливый мир, до которого можно было дотянуться рукой. Трофим лежал, обняв полую ватника девочку, прижимал ее к себе, порой чувствовал сквозь толстое одеяло — чуть шевелится, значит жива.

Жива, а это сейчас для него самое главное.

Смутно, сам того не осознавая до конца, Трофим один на один с этим, осужденным на смерть младенцем, почувствовал, что жизнь его до сих пор была холодной, неуютной.

После смерти матери он жил у дяди, разносил поило коровам, обходил лошадей, нянчил детишек, получал затрецины — «шевелись, пашенок!»

Началась коллективизация, Трофима вызвали в сельсовет: «Подпиши заявление, что ты батрачил на дядю. Эксплуататор, надо раскулачить». А у дяди — шестеро детей, старший Петька, одногодок Трофима, жалко все же.

— Ах, жалко! А они тебя жалели, сколько лет ты на них хрипт ломал? Сынок-то в сукнах ходит, на тебе рубаха чужая. На рубаху не заработал... Верно, не возражишь — подписал.

Раскрыли амбары и клетушки, вывели скот, потряхнули сундуки. Дядя, сумрачный бородач, его жена, баба сварливая, высохшая от жадности и работы, с котомками за спиной, с выводком детишек, под доглядом милиционера двинулись со двора на станцию.

— Столкнемся, Трошка, на кривой дорожке. Выкормили змееныша за пазухой!

А Петька, одногодок Трофима, плакал, как девчонка.

Ни с кем из них не столкнулся. Из тех мест, куда их угнали, кривые дорожки вели к богу в рай.

Дядино добро — полшубки, сапоги, поддевки суконные — распределяли по беднякам. Причилось и Трофиму — отказался, не взял ни нитки. Пусть знают, не ради корысти заявление подписывал, а потому что осознал.

Жить, однако, пришлось в дядином доме. Огромный пятистенок — пустой и гулкий, по ночам мыши скребутся, в трубе завывает. А утром выйдешь во двор — все двери нараспашку. Хлев, амбары, баньку, повесть продувает ветром.

Решил жениться. Нюрке Петуховой, дочке неладящего Сеньки, по уличному Квас, не приходилось выбирать. Из себя вроде ничего — лицо приятное, в черных глазах какая-то птичья робость, парни бы не прочь побаловать, но кому охота идти в зятя к деревенскому скомороху Сеньке Квасу.

Этот Квас, морщинистое лицо, мышинные глазки, все богатство — зипун из заплат, штилеты с «безрезовым скрипом», — потребовал:

— Свадьбу гони, хочь крестьянскую, хочь пролетарскую — была бы выпивка.

А на свадьбе, после первого стакана, словно обухом по башке.

— Ты мной не брезгуй, я сам тобой брезгую.

— С чего ты?

— Не верный человек — родню за пятак продашь.

Всей деревне удовольствие, когда веселый тесть ходил по улице и пел:

Протекала речка эдак,

Протекала речка так.



Не задешево торгую —
С головы всего пятак.

Сельсоветское начальство метило бывшего батрака Трофима Русанова в колхозное руководство. А Сенька Квас выплясывал:

Антиресная заботушка
Мне голову кружит:
Как бы с зятюшкой колхозушко
Напару поделить.

И ничем его не возьмешь — ни добрым словом, ни острасткой. Побьешь, а он, как шелудивая дворняга, отряхнетсЯ, злей станет лаять.

Трофим пошел в район с жалобой — житья нет. Там рассудили — вражеская агитация. Исчез непутевый деревенский скоморох.

Жена Трофима не называла раньше отца иначе — «шут гороховый», а тут перестала глядеть в глаза. Нутром чуял — живет через силу, ушла бы, да куда: брюхата на четвертом месяце, с таким прикладом никто не подберет. Пробовал ей доказать, что он-де правильный человек, за правильность-то его и не любят, а у нее в ответ одна унылая песня:

— Уедем скорей отсюда.

И где бы он ни жил, кем бы он ни работал — всюду испытывал вражду к себе. Вражда стала привычной, она не замечалась. Ежели приглашали к столу или говорили доброе слово — настораживался: бояться, сукнины дети, или целются окрутить вокруг пальца. Дерьмо люди, нельзя верить.

Быть может, впервые ему доверился человек.

Человек?.. Еще не человек, но доверие-то человеческое. Вот я — можешь отмахнуться, тебе ничего не будет, никто не узнает, люди не догадываются о моем появлении на свет. Отмахнись — это так просто сделать! — будешь свободен, быстрее вырвешься из леса, домой, в тепло, в уют, к отдыху. Отмахнись, правильный человек!..

Трофим не привык раздумывать, и сейчас он не думал, а просто чувствовал беззащитное доверие. И ему, жившему во вражде, оно было ново, необычно, вызывало щемящую благодарность. Разворачивая одеяльце, он видел разъединенное нечистотами, обваренно-красное тельце, и сам испытывал страдание. Он совал тряпичную соску и снова страдал от того, что не материнское молоко, а грубая жвачка — опасная пища, можно своей рукой отравить младенца. Лежа между двумя полыхающими кострами, он прижимался тесней к ребенку, старался укрыть его собой от холода, от жара трещащих дров, от неждоровой ночной сырости. Его собственная жизнь в эти минуты сразу стала как-то сложнее и ярче. Только б донести до людей, там-то уж спасут.

Нескончаема ночь поздней осени. Порой не верится, что настанет утро. Кажется, так и завязнет темнота навсегда, час к часу не сложатся в сутки, спутается время...

Трофим подымался, подкидывал дрова в огонь, торпливо ложился, прижимал к себе нагретый сверток, забывался чутким, собачьим сном.

Выбрался на болотце, подступающее к знакомой лесной речке. За ней дыбится на косогоре сосновый лес. Там ноги не будут увязать в болотной жиже, километров пять пробежишь и не заметишь. К вечеру наверх доберется до Анисима: «Шевелься, старый сверчок!»

Теперь у Трофима воспоминание об Анисиме уже не вызывало злости. Не откажется лесник, как-никак вместе с женой станет ухаживать за девочкой, спасти ее. За помощью идешь к нему, а от кого ждешь помощи, того за врага не считаешь.

Пал ленивый лохмато-крупный снег и таял сразу на мокрой земле. Небо налилось устрашающей густотой, воздух сумеречно сер, хотя до вечера еще далеко.

Трофим, прижимая к себе ребенка, рассчитывая каждый шаг, боясь провалиться в студенистую трясиину у берега, пробрался к самой воде и застыл пришибленный. Он отлично помнил это место: здесь лежали два бревна — их нет. Подмыло ли берега и концы бревен обрушились, просто ли после ставшего снега поднялась вода, так или иначе — перехода нет.

Вода настолько черна, что кажется сунь руку — и она увязнет, как в смоле. На эту черную воду ласково, то там, то тут, спускались невесомые хлопья снега, едва коснувшись, исчезали. Вода спокойна, течения нет. От берега до берега каких-нибудь шагов восемь-десять.

А на противоположном берегу, подпирая сумрачное небо, натянто стоят стволы сосен. Не перепрыгнешь к ним...

Восемь шагов... Такие стоячие лесные речки «нутристы», берега их обрывисты; на дне, затянутые илом, лежат давно затонувшие стволы деревьев, между ними ямы и провалы — сорвись и кроет с головой. Вброд да еще с ребенком на руках — нет, опасно.

И все-таки Трофим решил прощупать. Нарезал лапника, пристроил на нем ребенка, подобрал вывалившуюся березку — попрямей и потоньше, двинулся вдоль берега, промеряя через каждые пять шагов глубину...

По грудь у самого берега — значит на середине может скрыть с головой, по пояс, снова по грудь... Но вот конец березового кола сразу уперся в дно — по колено, даже мельче, а у того берега кто знает... Ежели и решаться, то тут. Прежде, чем соваться с ребенком, надо проверить. Скидывай одежду — не дай бог намочить ватные штаны и телогрейку, за сутки не просушишь у костра; нагишом полезай в ледяную воду, а сверху тебя будет посыпать снежком...

И Трофим сплунул:

— Да что я, на смерть приговоренный!

Он решительно отбросил кол, пошел обратно. Нечего рассчитывать на брод, придется двинуться вверх по реке, пока не наткнешься на какую-нибудь окозину. Случается же, что упадет старое дерево поперек реки — вот тебе и мост, шагай посуху.

Перед тем как двинуться в путь, присел на лапнике, взял младенца на колени. Девочка не брала соску. Можно прошагать не один день, но так и не перебраться через эту дику, сонную речушку. Сколько еще протянет девочка? Сегодня-то они до Анисима не доберутся... Трофим поднялся.

По болотистой долинке кружит лениво черная река, брось щепку в ее воду — не тронется с ме-

ста. Кружит река, кое-где она разливается в просторные бочаги, кое-где ее берега сближаются настолько близко, что не трудно перескочить с разгону. Но с ребенком не перескочишь, да и сами берега рыхлые, топкие — не разбежишься, не оттолкнешься.

Кружит река, вместе с нею кружит и Трофим — щетинистый, грязный человек, с ружьем, с мешком, с младенцем в ватном одеяльце на руках. Кружит река, уводит Трофима в глубь леса. И начинает уже смеркаться, пора думать о ночлеге.

Утром следующего дня он наткнулся на завал. Не одно, а пять громадных деревьев обрушилось в реку, перегородило ее. Пять сухих стволов друг на друге, крест-накрест, и целая роща костистых ветвей, крепко сцепленных, туго переплетенных, закрывающих путь через реку.

Трофим снял ружье с плеча — оно больше всего цепляется, взял за ствол, размахнувшись, перебрал его через воду. Ружье мягко шлепнулось в мшистый берег. Мешок перебрасывать побоялся — не долетит, упадет в воду. Держа одной рукой неуклюжий сверток из ватного одеяла, другой хватаясь за сучья, полез по завалу...

Если б обе руки были свободны, одна минута — и он на том берегу. Сейчас, обламывая тонкие ветки, цепляясь за толстые, рискованно повисая над водой, продирался вершок за вершком. На самой середине зацепился мешок. Трофим дернул, вспомнил бога и мать, но делать нечего — пошевеливая плечами, стал освобождаться от лямок, осторожно, медлительно, боясь потерять равновесие, уронить ребенка. Он удержался сам, удержал и младенца, а мешок подхватить не сумел. Тот шлепнулся в воду и поплыл.

Трофим поглядел на мешок злыми глазами, полез дальше. Наконец, ломая сучья, свалился на землю, долго сидел, прижимая ребенка, слушая стук своего сердца.

Когда поднялся, ни на черной воде, ни под запущенными в воду толстыми сучьями мешка не было — он затонул...

Мешок затонул, а ружье осталось. Ненужное ружье, мешавшее ему всю дорогу. Он не поднял его с земли.

Он устал за эти дни. Он уставал днем и не отдыхал ночами, так как постоянно вскакивал, чтобы подправить прогоревшие костры. А они прогорали быстро — не было топора, чтоб заготовить толстые дрова, приходилось пользоваться только валежником. Он устал до того, что его уже не волновала пролажа мешка, где лежала вся еда, кроме небольшого куска хлеба, который он спрятал за пазуху — «на соски»; он не нагнулся за ружьем, двустволкой бескурковой, которой гордился, за которую в свое время заплатил пять сотен; он уже равнодушно думал о том, что девчонка все равно умрет; он не испытывал страха и перед своей смертью.

Идти обратно вдоль реки, чтоб наткнуться на знакомую тропу, которая ведет в сосновый бор, — значит потерять день. Оставить реку, двинуться наискосок через лес — не мудрено заблудиться. Но он хотел только одного — быстрее выбраться из лесу; по его прикидке, где-то недалеко должна проходить дорога, ведущая на один из лесопунктов.

Хотя сейчас по ней не ходят лесовозные машины, но все-таки дорога — возле нее легче ждать помощи.

И он решился — обнимая ребенка, побрел в сторону от опостылевшей реки.

8.

До сих пор его вели вперед — сначала тропа под ногами, потом река. Теперь, куда ни взгляни, во все стороны одинаковый лес. Впереди — перекрученные березки и елочки, справа — перекрученные березки, слева, сзади. Мир сразу же потерял всякий смысл.

А день сумрачно-серый, нет надежды — не проглянет солнце и ночью не выведет. Где север, где юг, вперед ли ты сделал шаг или назад — над всем равнодушная тайна.

Первые часы Трофима не покидала уверенность, что идет правильно, рано или поздно он наткнется на дорогу. Наткнулся на непроходимую чащу — ели ствол к стволу, торчат во все стороны высохшие острые сучья, у корней слежавшийся ночной сумрак. Побрел в обход, прижимая к груди ребенка.

Лес был высокий, крепкий, сюда еще не добрались лесозаготовительные организации, не проложили здесь «усы» узкоколеек, не пробили дорог. Тонкие, гибкие березы протискивались к небу сквозь плоты хвои. Ели развешивали над головой замшелые, полуоблезшие лапы. Лес давил дикостью, дальше, чем на три шага, ничего не видно.

Он шел и глядел в небо, на верхушки деревьев, ждал, что вдруг покажется заманчивый просвет. Вдруг да вырубка, а от нее непременно дороги к человеческому жилью, пусть полузабытые, полузаброшенные, но все-таки дороги.

Несколько раз ошибался. Ему казалось, что лес впереди раздвигается. Тогда он прибавлял шагу, ломился напрямик через чащу и... выходил в мелколесье. А за мелколесьем — снова рослый лес.

Опять просвет... С каждым шагом он ширится, с каждым шагом становится чуть светлей. И лес оборвался...

Перед Трофимом выросло лохматое, как поднявшийся на дыбы неопрятный медведь, вывороченное корневище — пласт земли, поставленный на попа. Шагнул в сторону, чтоб обойти, и в упор — расщепленный ствол, страшный излом, словно разверстая пасть в диком крике. Стволы навалом, один на одном, толстые, тяжелые, забуревшие от времени, и вскинутые вверх в судорогах костлявые ветви...

Ждал вырубку, ждал лесную пожню с пригнущимися в одиночестве стожком сена, думал найти дорогу. Где там... Когда-то здесь прошел бурян, столетние деревья сорвались с насиженных мест, остервенело набросились друг на друга, сцепились сучьями, упали в обнимку, на них попадали новые. Лесное побоище на километры, лесное побоище, прикрывшее заболоченную землю, дикие звери и те обходят стороной проклятое место. Дорога, где уж...

А с мутного неба — мутный, как жидкое коровье поило, свет. И тишина, тишина, нарушаемая лишь

равнодушным шумом хвойного моря. Морю нет конца. Как далеки люди! Как дороги они все!..

Только теперь Трофим поверил, что он заблудился.

А день увядал, мгла затягивала побоище.

9.

Утром он не мог согреть себе кипятка, ничего не поел: котелок, хлеб, сала еще добрый кусок — все осталось на дне той проклятой реки. Он только, исходя слюной, нажевал соску. Но девочка опять ее не взяла.

Она скоро умрет. Его и самого лихорадило.

За ночь опять выпал снег, мокрый, липкий, которму суждено снова сойти.

Влез в болото. Из припорошенных снегом моховых кочек под сапогами брызгала рыжая вода. Провалился ногой до паха в трясину. Вырвал отяжелевший от грязи сапог, прополз на коленях шагов двадцать и не смог подняться — обессилел от страха. Сидел, чувствуя, как немеет от холода промоченная нога. И тут девочка заплакала слабеньким кашляющим плачем. Она давно уже не подавала голоса. И это помогло ему подняться...

Неожиданно напал на свежий человеческий след. Бросился по нему. След пьяно блуждал среди кочек. И он понял — наткнулся на свой собственный след.

За пазухой еще лежал обломанный со всех сторон кусок хлеба. Он шел и думал об этом куске.

С этими мыслями к темноте он добрел до полового овражка, заросшего ольховником. Началась четвертая ночь под открытым небом. Он еле нашел сил набрать валежнику. Всю ночь не спал, всю ночь старался, чтоб костры горели жарче и все-таки мерз.

«Крышка тебе, Трофим. Вот так просто — не встаешь утром и... крышка».

Привычно посерело небо, привычно расплзлась грязная мгла, забились в глубь кустов, на дно овражка. А снег падал и падал, сырой, тяжелый, обильный. От него воздух вокруг тлеющих костров становился каким-то прелым, нездоровым.

Трофим все-таки поднялся, перемотал непросохшие портянки. Все тело ломило.

С равнодушием заглянул внутрь одеяла. Лицо девочки было странным — с синевой, какое-то замороженное. Умерла или нет?.. Тронул пальцем щечку, но грубый, жесткий палец ничего не почувствовал. С трудом сгибаясь, притронулся губами, но и губы его были горячи и сухи, ощутили холод — никак не мог понять, умерла или нет?

Так был и лег рядом с девочкой да не вставал больше.

Вспомнил про хлеб, достал захватанный, помятый крохотный кусочек, взвесил на руке, выругался слабо:

— А чтоб тебя! Померла иль нет?

Откусил хлеб. Глядя на девочку, съел весь кусок, не чувствуя вкуса хлеба, не наслаждаясь, что

ест. А когда съел, стало стыдно: вдруг да жива, вдруг да подаст голос...

Из-за стыда неожиданно озлобился:

— Да что я зарок кому давал!.. Что мне сдыхать вместе с ней!

Это ли озлобление — как-никак живое человеческое чувство, — страх ли перед смертью, совсем расшевелили Трофима.

Забрал подкидыша, тащил на себе, умилялся, красовался перед собой, забрел черт-те куда, болен, голоден, сдыхает — ради чего? Проснись, Трофим, да мотай быстрее. Один-то как-нибудь выпутешься.

Трофим встал, запахнул плащ, натянул потуже шапку, скользнул взглядом по ватному одеяльцу, волоча ноги, направился к лесу.

Без ноши в руках было непривычно легко и неловко. Такое чувство, словно раздет, вот-вот прохватит морозом.

«Матери она не нужна, так кому нужна? Ну, спасу, а куда девать, кто обрадуется? Может, лишний груз себе на шею повесить, выкормить, вырастить, замуж отдать? И спасибо не услышишь... Много ли ты от своего сына родного спасибо слышал!..»

Но как ни разжигал себя Трофим, а вспыхнувшая злость остывала, по-прежнему оставалась только связывающая неловкость — не хватает чего-то, забыто. И стучится в голову страшная мысль: «А вдруг да жива! Живую бросил!»

На кустах, на ветках деревьев лежал неопрятный клочковатый снег. Несмотря на белизну, лес был сумрачен, небо густое с грозовой просинью. И на Трофима мало-помалу нашло безразличие ко всему. Выпутается ли он из этого проклятого леса, останется ли здесь — не все ли равно? О доме, как о рае небесном, мечтает, а что дома?.. Будет все то же, что было на прошлой неделе, год назад, нового ждать нечего. Наверно, только станет вспоминать, как валялся у костра, как прижимал к себе завернутого в одеяльце младенца, как прислушивался — шевелится ли? Пожалуй, ничего другого в жизни не вспомнишь.

«А вдруг да жива! Живую бросил!»

Наискось узкую полянку перерезал след. Прямой, как по линейке. Похоже, по заснеженному лесу проскакала палка, протыкая в мокрой пороше дырки. Это был первый след, кроме своего, который увидел Трофим в лесу. Пробежала лиса, оставила строчку.

И Трофима передернуло от этого следа. Он представил, как лиса боязливо обнюхивает брошенный им сверток, как засовывает острую, хищную морду в одеяло. Он-то знает, как лисицы обгрызают попавших в петли зайцев...

«А вдруг да жива!..»

И он, прихрамывая, держась за грудь обеими руками, поковылял обратно.

Лапки и одеяло в цветочках покрыл снежок. Только пепелища от двух костров были углисто-черны. Трофим поднял девочку...

И сразу все стало на свои места, все приобрело смысл. Надо идти, надо выбираться из леса.

10.

Вечером того же дня до него донесся горчащий запах дыма. Он проходил шагов десять, останавливался, вытягивал шею, с заросшим, прокопченным, страшным лицом стоял, раздувая ноздри, приножи-

вался, как дикий зверь, и снова шел сквозь кусты, сквозь чащу... Лес расступился. В оловянную гладь озера белым клином врезалась заснеженная крыша. Черная труба на этой крыше не дымилась. Дым тянулся от придавленной к земле баньки.

Место сначала показалось незнакомым Трофиму. Дом у озера?.. И какое это озеро?.. К Анисиму он же не мог выйти...

Но подойдя вплотную, он увидел покрытый снежком стожок сена, обнесенный крепкой изгородью от лосей, узнал баньку, понял — все-таки вышел к Анисиму, но только с другой стороны. Значит, где-то пересек дорогу и не заметил ее.

Обогнул стожок, по тропинке добрался до крыльца. С ходу подняться не смог, присел на ступеньку. Сидел, прижимая к себе туго свернутое одеяло, глядел на синие сумерки.

Из окна на синий снег упал теплый невесомый пласт света. И Трофим, чувствуя каждый неподатливый сустав в теле, встал. Занесенная нога не попала на ступеньку, и он сорвался лицом вниз, успел подумать: «Беда, ее придавлю...»

На лавке уже лежало приготовленное чистое исподнее. Анисим ждал — жена истопит баню, позовет его, а пока вздул лампу, стал пристраиваться с книгой.

В зимние бесконечные вечера на лесном кордоне очумеешь от тишины и скуки — до ближайшего соседа три километра, до Пахомовской избы-читальни, куда наезжала кинопередвижка, — пять. Книжки стали стариковской страстишкой лесника. Любил читать про все, что не похоже на знакомую жизнь, — про мушкетеров, про моря, про корабли, про страны с пальмами.

Анисим услышал, как что-то упало на крыльце, подумал на жену: «Непутная. Оставила бадейку на пороге, сама же и наткнулась». Но долгая тишина после этого насторожила: «Чтой-то с ней? Не зашиблась ли?» Поднялся из-за стола.

В голубеющих снежных сумерках, растянувшись через все ступеньки, лежал на крыльце рослый человек.

— Эй! Кто ты?

Анисим перевернул гостя, увидел заросшее густой щетиной лицо, черные провалы глазниц и не узнал.

— Кого занесла нечистая сила?.. Без памяти... Ну-кось.

Подхватил под мышки, потащил в дом. И уж в избе, при свете не по лицу, разбойно заросшему, а по плащу признал Трофима.

Вошла жена, неся в охапке какой-то узел:

— Глянь, что на крыльце..

И осеклась, увидев на полу, в распахнутом мокром плаще, задравшего каторжный подбородок, человека.

— Трофим с пути сбился, — сообщил Анисим. — Образ людской совсем потерял.

И тогда она заглянула внутрь одеяла и ахнула:

— Ребеночек!.. Он принес... Мертвенький, кажись!..

Через три дня рыбаки, умыкнувшие лодку Анисима, перевозили Трофима через озеро.

Он сидел у самой кормы, на его отощавшей, порезанной во время бритья физиономии, в глубоких складках таилось что-то особое, каменное, пугающее всех.

Трофим сумрачно молчал, а рыбаки с удивлением и робостью косились на него.

Окончание следует.

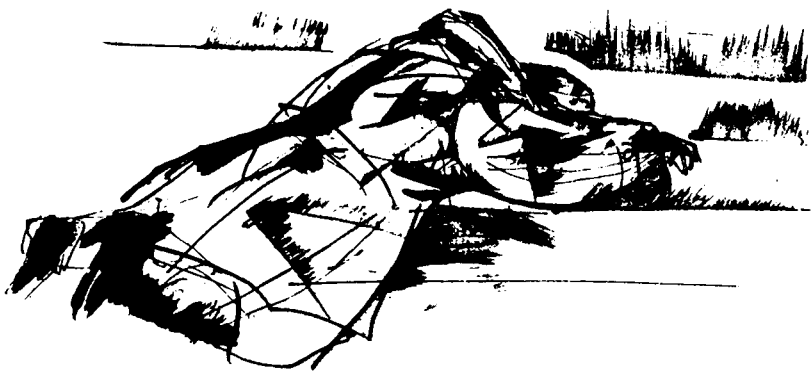




Рис. М. Клячко

НАХОДКА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Вот он и дома...

Почему-то вспоминается Трофиму Мирон Крохалев, мужик из их деревни...

Два брата Крохалева, Матвей и Мирон, после смерти отца стали жить каждый своим домом. Поделили, как люди: тебе кобыла — мне корова, тебе телка — мне жеребчик, вплоть до горшков и ухватов, иконы с божницы пополам. У поделенной по-братски земли лежала пустошь, просто болотце с жидким осинничком. Его-то не делили, в голову не пришло.

Но вот однажды весной, когда березовый лист «вымахал с копейку», старший, Матвей, обрядив все свое семейство в опорки, вышел на пустошь жечь новину — валили осины, складывали в костры.

И тут наскочил Мирон:

— Куд-ды, так твою перетак!

— А чего? Земля-то, небось, не твоя.

— Это уж не твоя ли?

И схватились за колья, и лег Мирон отлеживаться под осинку.

И нанятые грамотеи принялись строчить бумаги, и обиженный Мирон кричал:

— Ужо заплашет Матвейка!

Он свел на базар корову, распродал овец, забыл дом, пропадал в городе; не зная грамоты, выучил назубок все законы: «Ужо заплашет Матвейка!»

Шел год, другой, третий, и каждый кончался надеждой: «Ужо заплашет...» Долго не выплясывалось, но так-таки осилил.

Рассказывали: Мирон вышел к пустоши, поглядел на квелье осинки, которые теперь были его, а не Матвейки-вражины, и вдруг спросил недоуменно и жалобно:

— Это что же? Конец, значит?

И напился после этого. И стал пить без просыпу. И еще долго жил.

Трофим в детстве видел его: мутные глаза с кровавыми жеребьями белками, в рыжей бороде запуталась солома, истекает тягучей слюной, сидит.

— Для чего живу? А?.. Живу и звезды не вижу. Горшок порожний моя жизнь. А, бывалоча, сам мировой судья Кузьма Прохорыч Певунов мне ручку с перстеньком тянул.... Для чего живу? А?..

Трофим долго и тяжело добирался до дому. Вот он и дома. Стены с покоробившимися обоями, лиляло-желтыми, со знакомым сальным пятном, мокрое окно, мокрые тесовые крыши за ним, сумрачная печь и стол с расшатанным венским стулом.

Вот он и дома. Жена ссохшаяся, сморщенная; запавший рот хранит унылую скорбность — совсем уже старуха, ходит тихо, по-мышинному шуршит у печи, нет-нет да оглянется, и взгляд ее тягучий, долгий. Она уже до приезда Трофима знала, что случилось. Не похоже, не он, тридцать лет, считай, без малого прожили бок о бок, сын рос, а на руках у отца не бывал — и вдруг с младенцем нячился. Непонятен, а ночной заяц страшной волка днем.

И Трофим чувствует этот недоуменный страх. Вот он и дома, а слова сказать не с кем.

И лезет в голову давно забытый неприкаянный крикун-пьяница Мирон Крохалев: «Это что же? Конец, значит?»

Нет, надо жить. Настало утро — хошь не хошь, а вставай.

Он умылся, съел вчерашние щи, не потому что хотелось есть, по привычке — жить-то надо.

Роясь в карманах пиджака, чтоб достать кисет с табаком, Трофим выудил сложенную бумагу, развернул — нацарапанный вкривь и вкось на колене у костра акт на рыбаков, побросавших сигов в котел.

Жить надо, надо работать, исполнять, что положено.

2

Бревенчатый городишко, плоский, голый, крытый темным тесом, разогнавшись грязными улочками, казалось, ударялся прямо в непробиваемо-серое небо. Такое ощущение, что там, за крышами крайних домов, обрывается земля. Впрочем, так оно и было: земля обрывалась, начиналось озеро — одно из многочисленных в этом краю озер.

Бревенчатый городишко, он начальствовал над спрятавшимися в леса и болота деревеньками и селами. Здесь были учреждения, без которых не об-

ходится ни один райцентр. Среди них маленькая контора в тупичке улицы, выбегающей на берег, с подслеповатой вывеской: «Районная инспекция рыбохраны» — быть может, самая неприметная. О ней не шумели на собраниях, ее не разносили, не про-рабатывали, не славили в печати. Останови прохожего, спроси, где находится, — не всякий ответит, хотя бы это и был старожил, знающий свой город не только вдоль и поперек, но и в глубь бревенчатых стен. Однако, если спросить у того же прохожего, где найти Пал Палыча Чурилина, — укажет без ошибки улицу, дом, крыльцо, то самое, над кото-рым висит не привлекающая внимания вывеска.

В приозерном городке все — от последнего маль-чешки до первого секретаря райкома партии — поголовно рыболовы. Все знают, что, где и как ловить, — этим распоряжается Чурилин, с ним на вся-кий случай не мешает водить знакомство.

Павел Павлович Чурилин в свое время занимал должности и повыше, чем районный инспектор рыб-надзора. В годы войны работал уполномоченным по заготовкам — фигура заметная, на бюро райкома кулаком постукивал, выдвинули после заместителем председателя райисполкома, бросали на укрупнение в отстающие колхозы. И это было не так уж дав-но, но все почему-то забыли его руководящее прош-лое, а охотнее всех его забыл сам Пал Палыч. Ка-залось, он вечно сидел за низким столиком в тес-ной комнатухе рыбохраны, рядом потасканная форменная фуражка речника, несколько лет назад подаренная знакомым механиком с буксира, стопка казенных бумаг и под локтем — тощая записанная книжца — правила рыболовства, куда записана вся премудрость, которой руководствуется Пал Палыч. Книжка эта выучена от слова до слова, и лежит она под рукой для того, чтоб при нужде ткнуть кому в нос: «Видишь — черным по белому пропечатано!» И восторжествовать нешумно: «То-то, брат».

Сам Пал Палыч невысокий, высохший, с желтым, канцелярским, сморщенным личиком; только лыси-на, крепкая, гладкая, обширная, вызывает уважи-тельную мысль: «Ей-ей, в этой башке не одни пра-вила рыболовства спрятаны».

Своих участковых инспекторов, или, как их вели-чал, «боевая пятерка», Пал Палыч называл ласково «милок» да «дружок», но так же ласково умел и на-жать: на печке не отлеживались. О Трофиме Руса-нове он отзывался с похвалой: «Мертвая хватка, нам такие волкодавы нужны» — и держал его в черном теле: участок выделил самый большой, разбросан-ный, по особо щекотливым случаям толкал его: «Ноги в руки, милок!»

Трофиму нужно было заявиться к Пал Палычу, а раз заявиться — значит отчитаться, а раз отчитать-ся — выложить на стол акт на рыбаков.

Пал Палыч прикрыл бумагу крепенькой рукой в золотистой шерстке, от глаз к остаткам волос потянулись улыбочивые морщинки:

— Явился, герой. Что, милок, попал в переплетик? А ведь, гляди, даже с виду изменился. Как думаешь, Розалия Амфилохиевна, изменился он?

В тесной конторе, кроме Пал Палыча, постоянно находились еще один человек — женщина с унылым носом, сильно косящая на один глаз, счетовод и кассир, делопроизводитель и даже уборщица по со-вместительству. Она была туга на ухо, потому упор-но молчала, но это не мешало Пал Палычу поми-нутно обращаться к ней за подтверждением: «А так ли я сказал?..» Причем имя ее — Розалия Амфило-хиевна — он выговаривал с особым вкусом.

Розалия Амфилохиевна не подняла от своего

стола лица, не взглянула на Трофима, ответила не-внятно:

— Бу-бу...

— Ты глянь, — попросил Трофим. — Дело-то копе-ечное.

Пал Палыч опытным взглядом окинул мятую бу-мажку, отложил.

— Ну и славненько.

— Что славненько?

— То, что наскочили. Передадим куда следует, штрафанут для порядка. Верно, Розалия Амфило-хиевна?

А Трофим почему-то ждал, что Пал Палыч откинет бумагу: «Крохоборничаешь, дружок мой милый», — случилось и такое. Но тот не оттолкнул, и у Трофи-ма появилось чувство острой неловкости: а так ли делаем?

— Грех-то невелик, простить бы можно, — произ-нес он хмуро.

Пал Палыч кольнул взглядом Трофима:

— Раз невелик, зачем его до меня нес? Взял бы да простил сам...

А Трофим и сам не знал, зачем принес, скорей всего по привычке: написана бумага — нужно до-нести.

— А коль принес мне в зубах, я покрывать не намерен. Вдруг, скажем, Розалия Амфилохиевна решит на принципах настоять, черкнет на нас заяв-леньице — так, мол, и так, попустительствуют. Кому первому ударят по шапке? Мне, не тебе!

Розалия Амфилохиевна не расслышала, думала, Пал Палыч обратился к ней с вопросом, ответила:

— Бу-бу...

И Трофима рассердило ерошничество:

— Ты и покрупней грехи покрывал. Припомни-ка: в прошлом году акт тебе принес на целую ком-панию, сети в нерестовые ямы кидали. Этот акт пропал, словно с кашей его съел. Почему бы это?

— Почему?.. Скажу, не утаю. В той компании козырные валеты были, не нам с тобой их бить.

— Это верно, рыбаки — не козырная масть, можно на них отыграться, к отчету пришить.

У Пал Палыча чуть-чуть порозовела лысина, весе-лые глаза потемнели:

— Знаем, знаем, считаешь всех нас — жулики, ты один ангел чистый. А разберем, ангел, какова твоя чистота? Попрекаешь меня — через одного прощаю. Но всех-то подряд простить нельзя. А вот я чего не смог бы, того не смог — в ухо заглянуть, каюсь. Ты заглянул, акт составил. Рыбачки на осен-нем ветру, на холоде жилы вытягивали, а на вот — утришь, братцы, ничего за работу не получите.

Штраф!

— Так сделай, чтоб не было штрафа. О чем прошу?

— А вот и другое — ты ставь крест, ты рискуй, а я в сторонке побуду. Тоже хорошо, тоже по-ан-гельски. Так кто ж, выходит, чище из нас двоих — ты или я? Пусть, так сказать, массы рассудят. Кто из нас чище, Розалия Амфилохиевна?

— Бу-бу... — отозвались массы.

— Хвалишься: через одного прощаешь. Через одного! Скажи лучше: по выбору, с выгодней...

— Эк чем уел. Слышала, Розалия Амфилохией-на?.. Да, с выгодней, да, с расчетом. Без расчета одни дети неразумные живут. Лишь бы расчет дела не заедал. Общего дела! А попробуй-ка попрекни, что за делом не слежу... Не выйдет! И волкодавов приучил потому, что для дела полезны. Для этого тоже сноровка нужна. — Пал Палыч встал, добавил с холодком: — Только смотри, портишься что-то, волкодав, не стареешь ли? Коль зубы выпадут — мне не нужен.

Розалия Амфилохиевна, навесив нос над счетами, щелкала костяшками, шуршала бумагами, один ее глаз глядел в бумаги, другой — мимо стола на сапоги Трофима.

Трофим вышел раздавленный, волоча отяжелевшие ноги.

3

Похватили душу, ощупали, как старый пиджак на базаре, показали — тут дыра, тут прореха, ты дорожишь, а вещь-то ничего не стоит — хочешь носи, хочешь выброси.

Темные бревенчатые дома, осевшие в землю, жмурились из-под крыш мокроотсвечивающими оконцами, и вид у них под промозглым дождем был довольный.

Прежде Трофим в окружении этих домов жил, не размышляя и не мучаясь. За бревенчатыми стенами — будь начеку — коротают век те, кого ты должен подозревать. Подозревай — нужно для дела! А у Пал Палыча за его спиной свой расчетец: протак-волк ловит хвостом в проруби рыбку лисичке.

Домой рвался из лесу, а теперь хоть обратно в лес беги.

И вспомнилось: не далее как позавчера они втроем — Анисим, его жена, он, Трофим, еще небритый, сохранивший вынесенную из леса одичалость, с дрожащими от слабости коленками, — вышли на берег Пушозера. На взлобке, где посуше, под узловой сосенкой Анисим, ткнув раз десять заступом, вырыл могилку. Жена Анисима, прежде чем положить трупик девочки в землю, сурово спросила Трофима:

— Как назовешь-то?

— Чего? — не понял Трофим.

— Как назовешь-то, спрашиваю? Человек все-таки, не кошку хороним, негоже, чтоб без имени в могилу.

И оттого, что у девочки не было имени, и оттого, что назвать ее должен был он, как родня, как самый близкий ей, перехватило горло, вот-вот на людях заплачешь, как баба. Трофим сморщился и махнул рукой:

— Как хошь назови... Ну, Анной, что ли...

Когда уходили, Трофим оглянулся, и его, только что умиравшего в осеннем лесу, чего только не наглядывшегося там, место могилки поразило своим невеселым видом: тускло-темное, тяжелое, как чугуна на изломе, озеро, плоский, в сырой сопревшей травке пригорочек, старушечьи-мослаковатая сосенка и еле-еле приметный издали торфянисто-траурный холмик.

Уходит от него...

И уже нельзя одуматься, вернуться обратно, как возвращался к избушке или там, в лесу, к овражку...

Неужели виновница не поплатится за этот холмик?

Налитое чугунной тяжестью озеро, скрюченная сосенка — божья старушка, торфянистый холмик... Никто не ответит...

Неожиданно Трофим остановился посреди улицы. Ударила мысль простая, ясная среди других путаных, угарных, она открылась, как свежее яичко в ворохе мусора.

Найти нужно...

Найти самому, нечего рассчитывать, что другие найдут.

Самому сделать доброе дело: раз девка на такое смогла пойти, то она при случае отца родного



отравит, мужа изведет, брата прикончит — не должна безнаказанно жить!

Найти, вытащить на белый свет!

И чувствовал, как силы вливаются в тело.

Жизнь снова обретала смысл.

Торфянистый холмик под сосной, прольются на тебя еще вражьи слезы!

4

Он не знал, что сделает с девкой. Просто ли передаст в суд, под закон, или выведет на люди, порадует, как будет плевать ей в лицо, или не удержится, задушит своими руками — за вздутое, обваренное, несчастное тельце, за черный холмик на берегу озера, за свою растравленную душу!

Там будет видно, но нейдет!

Ночью он не спал, лежал, щупал темноту широко открытыми, невидящими глазами, соображал, как лучше взяться за дело.

Лесная избушка стояла на копновских покосах — значит через озеро самая ближайшая к ней деревня Копновка. Деревня, как почти все кругом деревни. Трофим ее хорошо знал — не так уж велика, дворов пятьдесят. В таких деревнях каждый человек как на ладони. Не могут не знать, что какая-то девка или баба скрылась на время. Не могут и пропустить мимо глаз — было брюхо, потом опало. И уж ежели до этой деревни долетят слухи о найденном младенце, подозрения выползут наружу, как грудь из-под прелых листьев. Но и девка была бы последней душой, если б не учитывала того — должна как-то схитрить, замести следы...

Могла она приехать на лодке по озеру и из дальней деревни, хотя бы из Клятищ. Деревень, что

опят,—насколько дик тот берег, настолько этот густо заселен. Там — места гнилые, болотистые, здесь — повыше, посуше, в глубокую старину начали лепиться деревушки в этом краю.

И еще плохо: Трофима все знают и все не любят — не раз приходилось хватать за рукав деревенских рыбацков. Плохо и то, что слух о его истории расплывется по всем углам. А это может спугнуть девуку.

Лучше всего пожить бы в какой-нибудь подозрительной деревеньке недельку, две, не расспрашивать, а только слушать. Тогда наверняка дойдет: «Мол, та паскуда в курной избе ребенка кинула...» Но у Трофима никого из родни в этих деревнях не было, а если б и была родня, то ни он их, ни они его гостьбой не жаловали. Выехать просто так, поселиться у какой-нибудь старушки — опять подозрительно: «С чего это он в такую пору курортничает?» Не так-то просто выудить поганую рыбку.

Трофим перебирал в памяти знакомых, живущих по бережным деревням. Знакомых много, но эти знакомые пусть сами готовы девке на подол плюнуть, а для него, Трофима, землю рыть не будут.

И неожиданно вспомнил: «Анисим-то родом из Нижнего Осичья, это как раз возле самой Копновки. Там у него — кто не кум, тот сват». Анисим видел мертвую девочку, сам стервил на чем свет стоит гулящую девуку. После того как Трофим вернулся, не только Анисим, но и его жена, эта баба-солдат, радели к Трофиму — отпаивали молоком, парили в бане, выхаживали, как могли. Анисима можно упрямить, чтоб съездил на недельку к родне — часто туда ездит, глядишь, мимоходом свою нуждишку справит. Его-то никому и в голову не придет опасаться. На худой конец, ежели Анисиму недосуг самому съездить, то пусть кому из Осичья накажет разузнать.

«Найду курву...» — Трофим успокоенный заснул.

На другой день он начал собираться к Анисиму. Вспомнил, что жена Анисима плакалась: часто угорает возле печи, а в Пахомове нельзя найти нашатырного спирта. Купил ей спирт. А так как дорога от аптеки шла мимо книжного магазина, вспомнил про страстишку Анисима, завернул в книжный, куда еще никогда не заглядывал. Долго щупал книги, приглядывался к картинкам на обложках, выбирал поцветистей и потолще — бог с ними, что стоят дорожке, зато Анисим целую зиму будет мусолить страницу за страницей, поминать добрым словом Трофима. Наконец выбрал: Август Бебель. «Из моей жизни», потому что на обложке — почтенный человек с бородкой, а значит, и жизнь его должна быть почтенная, кроме того — толщина в кирпич.

И в этих сборах было что-то легкое, радостное — едет не по службе, а считай, в гости. Трофим же не счесть сколько раз в году ночевал под чужой крышей, ел за чужим столом, а бывал ли он хоть раз в жизни в гостях?.. Что-то не припомнит.

На попутной машине до Пахомова. В Пахомове найти лодку нетрудно. И вот он снова у Анисима.

Хозяйка приняла пузырек с нашатырным спиртом: «Вот спасибо-то...» В простенке на дощатой полочке меж других книг уместился пухлый Август Бебель. На столе — печенье, конфеты и бутылочка «московской», тоже привезенные Трофимом. И поет начищенный самовар, и хрящеватый нос Анисима, пропустившего стопочку, опрокинувшего в себя чепыре стакана чаю, тоже отликает медью.

— Не могу, чтоб эта гнида жила безнаказанно, — говорит Трофим. — Ты уж мне помоги. Жизни нет, ни минуты покойной — все только о ребенке и думаю...

Анисим отмалчивается, цедит сквозь жидкие усы из блюбочка чай, ждет, что скажет жена. Сейчас, перед зимой, начальство не тревожит, можно на месяц скрыться из сторожки, но как жена — одной в лесу бабе остаться страшновато, хоть за много лет и попривыкла к бирючьей жизни. И дом не бросишь — корова, телка, подстинок ухода требуют.

А Трофим насаждает:

— Святое дело — землю от пакости очистить. Худую траву с поля вон. Ты же сам костил ее почем зря в прошлый раз. Вспомни, как девочку-то зарывали. Иль у тебя сердце луженое? Эх, да чего уж, как подумаю — варом обдает.

Анисим молчал, а его жена сказала:

— Тебе легче станет, коль к прежней беде новая нарастет?

— Это на кого беда? На сучку блудливую? И злomu осоту не сладко, когда его с грядки с корнем рвут. От такой беды всем легче станет.

— Блудливая? А вдруг да горемыка разнесчастная. Мало ли обмануных вашим братом.

— Ты чего защищаешь? — прикрикнул на жену Анисим. — Припечь бы такую не худо.

— Припечь... Много вы оба понимаете в бабьем горе. Может, в такие клещи попала, что хоть в омут головой.

— А хотя б и в омут, — возразил Анисим, — все греха меньше.

— Оглянись на себя! Тебя-то можно ль заставить в омут нырнуть? Трактором потащат, отбрыкиваться будешь.

— У тебя были дети? — строго спросил Трофим.

— А то нет! Трех родила, да на ноги-то поставить одного привелось.

— Так детей своих вспомни. Погубила бы ты их своими руками? Что молчишь?.. Ты же мать, ты же пуще нас, дубовых мужиков, к сердцу принять должна. Я вот забыть не могу, как у могилки вместе имя девочке давали, ты чего-то быстро забыла.

И жена Анисима осеклась, сидела за столом надутая, не остывшая, тронь — ожжет, но это только казалось, так себе самовар, в котором угли потухли. Анисим рассудительно заговорил:

— Припечь бы такую не худо... Всей бы душой тебе помог, но, сам посуди, как уехать на неделю? В лесу-то в эту пору уж так невесело, что и мужик в одиночку, гляди, затрубит волком, а тут бабу оставить — будет она по ночам зеленых чертей гонять. Нет, не неволь.

— Тогда через кого другого помоги дознаться.

— Это можно. Рыбаки-то гуляют по озеру, попросу — пусть заглянут к Пашке Щепенкову, он по матери братаном мне придодится. Мужик дошлый, а баба его на сажень под землей свежинку чует — они-то разношают. Да коль та сучка хитро следы не замела, сам собою грех вылезет наружу, не кручинься.

Большого добиться Трофим не мог.

5

Ждать, когда само собою вылезет наружу, видеть, как проходит день за днем, втягиваться помаленьку в жизнь, ленивенькую, словно послеобеденная дремота, привычную, как белесое небо в окошке, а та до сих пор не открыта, той так и сойдет с рук злодейство!..

И уже начинают люди забывать историю, уже не судачат по домам и не оглядываются на улицах вслед Трофиму...

Так и сойдет с рук?.. Не бывать этому! Найдет! За уши вытащит!

Трофим потолковал с Пал Палычем: «Не мешало бы прощупать Пушозеро на всякий пожарный случай — на рынке сбывали незаконную рыбу, не деревенские ли рыбаки чудачат?..»

Пал Палыч любит, когда дело вертится само собой, без нажима, махнул рукой — езжай, а сам сочинял бумагу в бассейновую инспекцию, выпрашивал еще одну штатную единицу, второго моториста на катер.

Зима в этом году медлила. Давно уже леса голые, давно уже семга вышла из рек, попряталась в глубину, давно на полях киснут зеленя озимых, уже раз пять выпадал снег и каждый раз сходил, оставляя после себя слякоть на дорогах. Озера стоят черные, при виде их зябнет спина.

Трофим шел на весельной лодке от деревни к деревне, ночевал в избах, прислушивался, а чтоб не вести на разговор, сам охотно рассказывал, как нес младенца. Его слушали, охали, любопытствовали, судили мать-злодейку, но ничего путного не сообщали — рады бы, да не знали.

Он добирался до очередной деревушки Бобыли, запозднился, наливалась ночь над черной водой, недалеко берег расплывался и начинал смахивать на застывшую тучу. Картаво вскрикивали уключины, падали весла, наводили тугую нефтянистую волну, и гребни этой волны улавливали мутноватый отсвет сумрачного неба. И казалось, все живое вымерло вокруг и весь мир с деревеньками, с мокрыми лемсами, с людьми, с лесной живностью залило бездонное озеро.

И в Трофима, как это часто случалось в последнее время, вползла зверем тоска, хоть бросай весла и кричи криком. Один на свете — безродный, несогретый, никому не нужный, один, и нет надежды, что найдешь кого-то. Уже близка старость, в его годы любой человек сидит, как в шубе, внутри семьи — дети, которых когда-то носил на руках, внуки, лезущие на колени. Ничего! Голый, зябнувший, источенный злобой. Все эти годы злоба идет по пятам. Вот и сейчас сбежал из дому, ищет... А вдуматься, что ищет?

Вскрикивают уключины, всхлипывают весла, лодка режет жирную воду, везет его в незнакомую деревню, к незнакомым людям. И он будет считать удачей, если найдет, если растопчет ту, что ищет, и ему кажется, что от этого ему станет легче.

В стороне от берега, на воде теплился огонек. Единственная светлая точка в мокрой темени — деревня-то далеко, светящихся окон не видно, — единственная на весь обступивший мир, дрожащая, неверная, ласково зовущая к себе. И правое весло само собою налегло сильней, сам собою нос лодки нацелился на огонек.

Огонь на воде, огонек среди озера, где не бывало и нет никаких бакенов, мог означать только одно — «лучат рыбу».

Поздней осенью, вплоть до ледостава, в холодной воде рыбы дремлют. В эту пору у них на время остывает неумеренная жажда к жизни — не рыщут с прежней энергией, кого бы сожрать, не прячутся, чтобы не быть сожранными, не увиваются возле самок — «трошки тупеют», как говорят в деревнях. Рыбаки на нос лодки устанавливают из железного листа жаровню, разводят на ней огонь, берут длинную острогу. Костер освещает воду, она, в темноте нефтянисто-черная, при отсветах пламени, хотя и скупое, но открывает секреты — шевелящиеся водоросли, затонувшую корягу и наконец обморочно

застывшую в скупой пестрой расцветке щуку. Тогда вскидывая острогу и не промахнись... И в этой ловле были свои прославленные мастера-добытчики.

Но «лучить рыбу» запрещалось, хотя и не очень строжились — проступок не из больших. Однако Трофим ехал сейчас не для того, чтобы схватить кого-то за шиворот, а чтоб согреться у живой души.

На вскрученных волнах, на мокрых лопастях весел, в каплях воды, срывающихся с них, засверкали горячие и веселые отблески костра. Казалось, костер горит прямо на воде, отбрасывая длинную тень в одну сторону. Эта тень была дубасом, лодкой-долбленкой, не всякий-то с такой справится, а уж тем более не решится на ней гулять ночью по озеру.

Обычно лучат вдвоем — один на веслах, другой на носу с острогой. Но Трофим в дубасе разглядел одинокую нахохлившуюся фигурку, подумал с одобрением: «Видать, хват. И с острогой, и с шестом, и сам огонь подправляет да еще на такой душегубке».

Человек давно уже приглядывался и прислушивался к приближающейся в темноте лодке. Он был мал и тщедушен, как подросток, голова в лохматой зимней шапке ушла в сутулые плечи, сухонькое личико и козлиная седая борода — в своем узком длинном дубасе походил на паука, плывущего на палке.

Он, наверное, узнал известного всем рыбакам на Пушозере Трофима Русанова и потому находился в оцепенении.

— Ну, чего ты? — подворачиваясь мягко бортом, стараясь не толкнуть верткий дубас — не мудрено опрокинуть, — сказал Трофим. — Ну чего уставился? Все ждете, что я вас есть буду да кости выплевывать. Эх, люди... — И уже виновато, чтобы как-то оправдать свое появление, пояснил: — Спички утерял, прикурить хочу... Василий Никифорович, кажись?

— Он самый.

— То-то думаю, какой ухарь в одиночку лучит. Ну, поздравствуемся, что ли, как добрые люди? — Здравствуй... Спички тебе? Чичас. Упрятал их...

И старичок засуетился, каждым движением вызывая содрогание своего утлого суденышка.

— Чичас. И куда оне, треклятые, запропастились?

— Головню дай.

— Чичас...

Василий Никифорович, сидевший в дубасе, носил фамилию Бобылев. Но так как в деревне Бобыли все поголовно были Бобылевы, а среди них еще один Василий Никифорович, то при разговорах всегда переспрашивали: «Это какой? Тот, что щуку в озере привязал?..» Именно тот, что Щуку Привязал, и сидел, робея, неподалеку от Трофима. Из-за щуки, которую поймал на крюк, не смог вытащить — велика была, однако, — а потом привязал, как козу, к стойке вымоستков, где полощут бабы белье, он и был знаменит.

— Уловишко-то есть?

— Чуток зацепил.

— И больших?

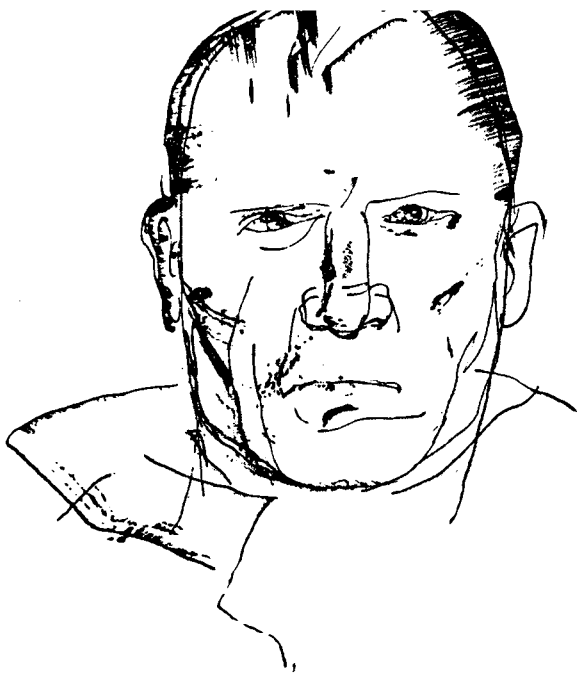
— Да вот глян, я не прячу.

Трофим привстал на лодке, заглянул на дно дубаса, где под сапогами Василия Никифоровича белили брюхами заостренные щуки.

— Одна вроде подходяща.

— Сходна. Время-то не ловое.

Трофим не хотел уезжать. Ему приятно было видеть, как оттаивает старик, уже благодарный за одно то, что грозный рыбный начальник, о котором ходит дурная слава, не накричал, не возмутился,



разговаривает по-человечески. Не хотелось уезжать в ночь, в темноту, в одиночество. Приятен был разговор, свет костра, тянуло на душевность, сам не сознавая, старался подладиться к старику, задобрить его словом.

— И что ж ты без напарника едешь? Одному-то трудно справляться.

— Эва, трудно! Еще мальчонком наловчился, а теперь за шестой десяток перевалило. Было время обвыкнуться.

— Я бы не сумел.

И от этого признания старик не удержался, раздвинул в улыбке сквозную бородачку.

— Ты-то, горюн, чего на ночь глядя блукаешь? Ай озеро твоё украдут.

— Верно, отец, горюн...

Трофима захлестнуло теплое чувство к старику. Навалившаяся невеселая ночь, безлюдное угрюмое озеро, сиротские мысли взорвали его, и он, торопясь, стал рассказывать:

— Верно ты заметил — горюн. Места вот себе не нахожу. Слышал, чай, что со мной стряслось? Девчонку-сосунку нашел в лесу, нес, да не донес, похоронить пришлось. И чего, вроде не родная мне, а нет покою. Сердце горит, как вспомню. Как-кая-то стерва покинула на смерть. Дитя свое сгубила и меня губит... Не отыщу места, никак не отыщу. Ты думаешь, по службе здесь езжу? Да пропади она пропадом. Служба-то волчья, после нее всем нехорош, на тебя, как на цепного пса, смотрят... Езжу я, чтоб эту проклятую богом девку на чистую воду вывести. Не жизнь мне, пока ее не открою. Притаилась, змея, обождите — вот ужалит еще кого... Дай срок, вытащу из-под колоды, положу под каблук — хрустнет темечко!..

Вяловато горели сухие гнилушки на носу дубаса, прорывающиеся языки пламени плескались в стоячей воде, с треском падали угли, шипели... А над придавленно-сонным озером разносился звонкий и сильный от неизрасходованной ненависти голос. Берег отзывался на него приглушенно-истеричным эхом. Скользящая озеро немота исчезла, казалось, оно где-то в глубине начинает шевелиться, скоро стряхнет сонную одурь — и уж тогда конец всему...

И старик опять оробел, втянул в плечи лохматую шапку, снова стал походить на паука.

Трофим заметил его робость и замолчал. Это под берегом глухо пролаяло его последние слова. Вот всегда так получается: подъехал к человеку с добрым словом, с лаской, с открытой душой, а вместо ласки, как из ушата, облил его перекипевшей злобой. С открытой душой, а в душе-то, видать, ничего, кроме этого, нет, открывать ее добрым людям опасно.

Рассердился на себя, рассердился на старика и уж совсем некстати в сердцах сказал:

— Поди, прячете ее. А я-то, дурак, петухом пою перед всяким.

— Кому нужда прятать такую, — слабо возразил старик.

— Ладно, — буркнул остывший Трофим. — Чего зря толковать... Не поминай лихом, дед.

Веслом бережно отодвинул от лодки дубас, нацепил весло на уключину.

— Слышь-ко...

— Чего тебе?

— Народ поговаривает, чуял...

Занесенные весла застыли над водой.

— Ну!

— Чуял краем уха... Про Любку, Тихона Славина дочку, брешут.

— Верно ли?

— Да кто ж знает... Поговаривают... Уезжала-де и там споровила. А прежде брюхатой ее примечали.

— Любка? Славина? Ты ее знаешь?

— Не. С отцом ее приходилось сталкиваться. Лет пять назад тес у меня купил. Да ты о нем, должно, слышал — бригадирствует ныне в Клятищах.

— Значит, из Клятищ она?

— Стало быть, из Клятищ... Да может, брехня все. Ты веры-то особой не давай.

— Клятищи вроде далеке от избушки. Не похоже, чтоб баба на сносях столько веслами отмахала.

— Ухажор ежели подкинул... Ой да не слушай меня — брехня все. И говорить-то, поди, не надо. Бес толкнул.

— Ладно!

Трофим налег на весла.

6

Клятищи — самая дальняя деревня по берегу. Если б Трофима не остановило в лесу несчастье, то от Анисима, огибая озеро, он пришел бы сначала сюда.

В старое время клятищенцев величали «загибыши». Крепкие мужики, строго придерживавшиеся старой веры, свято соблюдали посты, но и в посты ели так, как по другим деревням дай бог на пасху — пшеничные пироги с рыбой, загибыши, брюхо не в обиде и богу люблю.

Сама деревня громоздилась на берегу темными северными избами. Каждая изба — бревенчатая хоромина в два этажа, прятая под крышей не только жилье, но и повети, клетки, подклетки, летники, коморы. В каждой избе жила прежде огромная семья с престарелыми родителями — стариком и старухой, с бородастыми сыновьями, морщинистыми невестками, их несчетными детьми: парнями, молодухами, мальцами, ползунками, сосунками в люльках, свисавших по горницам с потолков.

Сейчас большинство изб заколочено. Во многих под обширной крышей, в пустых горницах коротали жизнь или древняя старуха, или старик — соломенный вдовец. Лесопункты, все глубже и глубже забирающиеся в леса, сплавные участки, разбросанные по берегам рек и озер, перевалки, эти шумные внутренние порты по вывозке леса, высосали народ из деревни. Молодежь год из года нанималась на сторону, вила гнезда за пределами Клятищ. Громадные избы слепли одна за другой.

Но еще оставались дома, полные жизни, где все окна дерзко и весело глядели на улицу, где крыша не прогибалась от ветхости, углы не отваливались и в пазах между бревнами, почерневшими, древними, торчала конопатка из свежего мха.

Трофиму показали на один такой дом:

— Туточки живет Тихон Славин. Гостей кабыть принимает.

Новенькие пряслица огорожи, размягшая от непогоды дорожка через просторный двор, где выгнулась тупыми коленами пара сильных, сияющих белизной берез. Перед крыльцом набросан щедро еловый лапник — входи, гость, но вытирай ноги. Само крыльцо вымыто, выскоблено, а у порога еще брошена ветошка — от бабок-староверок осталась привычка, те чисто любили жить.

Вытирая ноги, берясь за железное кольцо в дверях, Трофим услышал изнутри веселые громкие голоса и почему-то без всякого злорадства подумал: «Вот не догадываются, что беда встала на порог».

Подумал, нахмурился, толкнул сильно дверь, шагнул...

В красном углу за столом тесно торчали льняные головы детишек, среди них двое мужчин: молодой — пшенично-патлатый, возбужденно-красноротый, в чистой, необмятой, видать, надетой после бани рубахе, и постарше — суховатый, с чеканным, горбоносым, празднично-выбритым лицом, должно быть, сам Тихон Славин.

У печи разогнулась раздумывавшаяся баба, не молодая и не старая, по улыбочиво гнездящимся морщинкам можно понять — бесхитрозна, уживчива и теперь довольна минутой. Она озадаченно склонила на плечо голову, без слов ясен ее вопрос: «Кого бог послал?..»

Белые головы ребятишек повернулись, как по команде, круглые глаза хозяина на тонко кованом лице глядели с деловитой строгостью. Неуклюже развернулся широким туловищем и патлатый парень.

— Жаль не ко времени, — хриповато сказал Трофим.

И словно ожгло: из боковушки вышла молодуха, грядастая, бедристая, с выправочкой — отцовская спесивая строгость в выпяченной нижней губе.

Так вот она какая! Похожа. Такой вроде и представлялась. И цветет себе маковым цветочком, не болеет душой...

Трофим спросил осекающим голосом:

— Любовь Славина? Это ты будешь?

Метнула брови на лоб, сильнее выпятила губу, ответила:

— Я... А что?

— Выйдем на крыльцо на пару слов.

За столом зашевелился парень, спросил с угрозой, не обещавшей доброго:

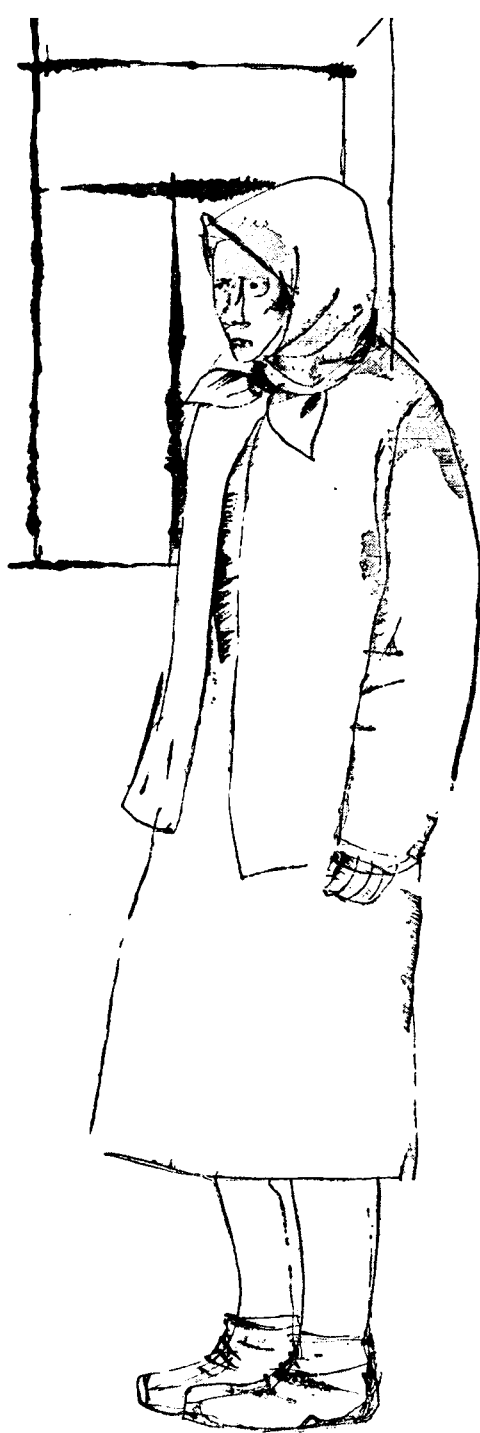
— Эт-то что за секрет? Ты сам-то кто?

— Дело есть к ней. Идем-ка, красавица.

— Дел у жены помимо мужа не бывает.

— Так ты муж'ей?

— Нет, прибудный... Иль паспорт показать?



— Тогда и ты выйди, втроем потолкуем.

В избе настала тишина. Голубели глаза детишек, хозяин буровил Трофима острым взглядом. Любка с остановившимся, недоуменным и сердитым лицом стояла рядом, затаив дыхание. А парень начал медленно-медленно подыматься и все рос, рос вверх, пока не расправился, — детина под потолок, заслонивший свет в низком окошке.

И в этой тишине раздался плач — знакомый Трофиму плач младенца, разворошивший воспоминания и вызвавший испарину на лбу.

— Что это? Ребенок? — растерянно спросил он.

Любка повела плечом. Видно было, что плач звал ее. Ей трудно стоять на месте. И это невольное подергивание плечом убедило Трофима больше, чем любые слова. Она мать, и любящая — значит наговорили на нее.

— Ваш? — снова обратился Трофим к Любке и парню.

— Нет, подкинутый... — сердито отозвался парень. — Что за спрос?

— Ну, тогда извините. Ошибка вышла...

— Нет, дядя, не отпляшешься, — с угрозой заявил парень. — Выкладывай камушек из-за пазушки, коль принес.

— Ошибся же. Наболтали мне... Э-э, да что муть подымать. Будьте счастливы.

Он повернулся и вышел, оставив за собой недолгое молчание, нарушаемое криком ребенка.

На дороге у старухи, несущей в подоле мирно смежившего глаза крохотного поросенка, спросил:

— Зять, что ли, к Тихону приехал?

— Зять. Год как старшенькую-то выдал, а зятя видит впервой.

— Что, уезжала дочь-то?

— Она, милый, то туда, то сюда. На стороне вишь тоже не баско. Муженек-то в обчужитье, а тут дите. Вот и прикатили к тестю. Пожить собираются...

Трофим шел к своей лодке, вспоминая белые головы детишек, обсевших стол, патлатого зятя, рослого и плечистого, его румяную тещу у печи, цветущую Любку, и завидовал Тихону Славину — вот она семья-то, и в старости возле такой теплый уголок найдется.

Черным вороном влетел к ним, сбил застолье. Влетел да обратно вылетел...

А люди... Эх, люди! Любого в грязь втопчут. И не от злости, не от черной зависти, а так — по случаю, подвернулось на язык. А если б у этих ребенка-то не было, он, Трофим, ославил бы Любку. Там, глядишь, муж поверит — свары, раздоры, поношения, жизнь закрошится, как сухойनावоз. И все оттого, что кто-то от безделья сболтнул. Эх, люди!..

Трофим не досадовал, что зря добирался в дальнее Клятище, он был даже рад, что вышла ошибка: беда не вошла вместе с ним в этот дом.

На обратном пути он вдруг почувствовал усталость и равнодушие. Рысканья на лодке от деревни к деревне показались ему глупым и ненужным занятием. Захотелось домой и, странно — захотелось видеть жену.

Дотянув до Бобылей, он оставил лодку на Василия Никифоровича Привязал Шуку, а сам добрался до города на попутной машине. И все время вспоминал семью за столом, белоголовых детишек, голубеющие на него, широко распахнутые глаза.

Жена, как всегда, заученно спросила:

— Есть хочешь?

Он посмотрел, как она собирает на стол, — натруженные руки, ввалившийся рот в затаенной скорби, и стало пронзительно жаль ее. Не видывала она с ним радости, нет, не видывала.

— Слышь, Нюра...

И она вздрогнула, руки, расставлявшие чашки, стали двигаться по-деревянному.

— Почему мы с тобой никогда не потолкуем? Живем, как глухие.

— За тридцать-то лет, чай, можно было обо всем наговориться...

Ой, неправда. Сама знает, что врет. За эти тридцать лет они так и не успели поговорить друг с другом, быть может, в первый год до исчезновения отца только и беседовали. Но тогда оба были глупы, оба не знали жизни, что они могли тогда говорить?..

— Слышь, тебе, может, что-нибудь нужно? Ты скажи мне. Ты только скажи.

Она смятенно взглянула, на мятых щеках выполоз румянец, отвернулась, сжалась вся, руки по-деревянному двигались над столом. Так она сжималась, когда он в сердцах обзывал ее нехорошим словом.

Утром, проснувшись, он услышал разговор за дверями. Жена жаловалась кому-то:

— Пока дома нет, только и живу. Как приедет, хоть с глаз беги... Вчера, подумай-ка, спрашивает: «Что тебе нужно, ты только скажи — в лепешку расшибусь». Пойми, чего там у него на душе.

— А может, он вправду уноровить хочет? — спросил женский голос.

— Жизнь прожил, не ублажал, а тут на старости-то лет... Не-ет, неспроста чтой-то. Боюсь его.

Трофим заворочался на койке, и голоса смолкли. В комнату заглянула жена, спросила, пряча глаза:

— Не спишь?.. Тут тебе из суда повестку принесли...

7

Повестка была не из суда, а от следователя. Трофиму казалось, что следователь обомрет, когда услышит во всех подробностях о свершившемся злодействе. А тот вежливо слушал, кивал головой, нет, не осуждающе, а, мол, понял тебя, верно говоришь, валяй дальше. Видать, он знал дела и поважней, чем смерть какого-то младенца, которому даже и имя-то не пришлось носить.

— Что полагается за такое?.. — спросил Трофим, сжимая под столом руки.

Следователь потер лоб, равнодушно ответил:

— Ежели б она его сразу... ну, в беспамятстве, скажем, — условно бы дали, даже простить могли, высказав, разумеется, общественное порицание. А так — преступление с умыслом, с подготовкой, при здоровом рассудке. Тут строже... — устало зевнул с растяжечкой: — Конечно, если найдем.

— Как так, если найдете?

— По опыту знаю: раз такое примитивное преступление сразу не раскрылось, потом хоть лоб расшиби...

И Трофим ушел в расстройстве: увильнет блудница от наказания и уж, видать, сердцем особо больно не будет — жди от кошки слез по мышке.

И чувствовал: сам выдохся, вот что обидно. Уж нет желанья, какое было, — землю насквозь пройти, деревни вверх дном переворочить. Торфянистый холмик под сосной так и останется на всю жизнь укором Трофиму — не отплатил сполна.

Едва Трофим шагнул за порог, как жена накинула платок на плечи:

— Мария Савельевна зайти просила.

Понял: боится, что снова набиваться на разговор по душам будет. Задержать бы, сказать: «Ой, худо мне! Не бегай, нужна». Так сказать, чтобы поверила, пожалела, глаза на него раскрыла — не волк, только приласкай, навек верная собака.

Но жена вышла бочком, тихонько прикрыла дверь.

Он разделся, сел за стол — как гость в чужом доме. Взглянул на ходики — до ужина еще час, а там сразу спать, по теперешнему положению — самое веселое для него время, вроде и жив и не замечаешь, как живешь. Потом утро... Все начнется сначала — от завтрака до обеда, от обеда до ужина, дотянуть бы до сна...

В дверь кто-то робко поскребся.

— Кто там? Входи!

Плечом вперед, лицо опущено, платок низко надвинут, сперва подумал старуха, ан нет, молодца. Остановилась у порога, уставилась в заляпанные грязью сапоги — молчит.

— Что скажешь?

И вдруг ошпарила до костей догадка: «Неужто?!»

Стоит — мужской обвисший ватник на плечах, легкий платочек, повязанный по-старушечьи, линялая ветхая юбка и громоздкие, покоробленные, не размягшие ни от грязи, ни от сырости сапоги. Молчит. Прячет лицо. Смотрит в пол.

Трофим попробовал привстать, но ноги ослабели, выдался:

— Ну!..

И она подняла голову. Рукой из слишком длинного рукава ватника, судорожно путаясь, стала рвать верхнюю пуговицу, узел платка, освободила горло. И опять ничего не сказала, только кривила губы...

Она! Трофим поверил в это совсем. Сама пришла!

Круглое обветренное лицо, лицо деревенской девки, мало сидящей под крышей, круглые, выбеленные ужасом глаза, острый, вздернутый, со сплюснутыми ноздрями нос — в своем обвисающем ватнике, словно воробей в перьях старой кукушки. И из этого ватника — белое, беззащитное, гуляющее под тонкой кожей горло.

— Это ты?

Она что-то сказала непослушными синими губами. Трофим ничего не расслышал.

— Ты или нет?

— Поведи меня... к кому нужно...

А Трофим боялся только одного — не выдержит при встрече, потеряет себя, вцепится в горло. И вот это горло близко, шагни, протяни руки — не отстранится, белое, беззащитное, хрупкое... Вместо гнева в душе какая-то пустота и недоумение: «Неужели это она? Не похоже...» Поморщился: «Сейчас расплачется. Этого еще не хватало...»

Но она не плакала, глядела остановившимися глазами.

— Зачем ты это сделала?

— Поведи меня... Жизни нет... Поведи меня к кому нужно.

— Зачем ты это сделала?

— Кабы меня кто убил теперь...

Копил лютую ненависть, ждал: взглянет ей в глаза и увидит страх — решетка впереди, позорище, вот она, расплата за все, поделом тебе, зверина блудливая. И вот глядит в глаза, видит страх, да не тот. «Кабы кто убил меня...» — просит, словно — кабы кто пожалел... И вместо ненависти — тупое бессилие.

— Зачем ты сделала это?

— Сама бы порешила себя, да боюсь.

— Дура! Зачем сделала, спрашиваю?! И дернулось горло, клокотнуло внутри:

— Мать дознается...

— Матери испугалась, а загубить душу — нет!?

— Боялась, что помрет... Болела она шибко.

— Теперь вот выздоровеет, коль узнает.

— Нету ее.

— Кого нету?

— Матери-то

— Ну, что путаешь, что путаешь, дура!

— Померла.

— Кто? Мать?..

— Пока я там жила... в избушке-то... Слава богу...

— Что — слава богу?

— Не узнает ничего... К лучшему...

Трофим раскричался, а ей, наверно, казалось, так и должен вести себя обычный человек. И первый страх в ее глазах исчез, взгляд их стал мутным, безразличным, тупым. Страшно было только переступить порог...

Она жалась к порогу, боясь наследить на полу, отвечала скупое, и по этим ответам, вытщенным словно клещами, складывалась незатейливая история, сплетенная из самых незначительных поступков человека, мир которого очень мал.

Жили вдвоем — она и мать. Мать, как и все старухи, истово держалась старой веры. А в глухой деревне непримиримое староверчество переплелось еще с угрюмым язычеством. И росла девка под шепоток: «Заговариваю рабу божию от упуды овечьей, кошачьей, свинячьей, собачьей, челоувечьей, и конской, и коровьей. Пуд-пудуница, царь-царица, князь молодой, ссылаю тебя на щедрый боры, на темны лесы, на зелены травы...»

Жили вдвоем — она и мать. Родни, конечно, целая деревня, и даже помощь от них случалась — дров нарубить, усадьбу вспахать. Мать болела, дочь тянула ее, как могла. Приехал парень из дальнего лесопункта — даже не гуляли толком. Он уехал, она осталась, а через месяц заметила — беременна. И тут напал страх — родня отвернется, вся деревня станет пальцами тыкать, а мать... Отступление «от божеского»! Мать — в чем душа держится! Бросало в судороги, в немоту — бежать! И никому в голову не пришло заподозрить, когда стала хлопотать справку в сельсовете: многие из молодых норовят выбраться.

Выбралась в лесопункт, в том самый, где работал парень, встретила с ним, спросила — отмахнулся. Жила в общежитии, другим девчатам говорила: замужем. Раз замужем, кто попрекнет — законно.

Дали декретный отпуск, конечно вычеркнули совсем из списков рабочих: ребенка родит — разве вернется? Получила деньги, куда идти? Для нее весь мир состоял из лесопункта и из своей деревни. Обратно в деревню? На глаза своим? Там-то не заявись, что-де законная жена. Мать такое напал убиет.

Набила котомку хлебом, крупой, сладями, забрала свои пожитки. Пришла в деревню крадучись, берегом, даже собаки не залаяли. Нашла свою лодку. В приозерной деревне у каждого, считай, лодка. Была и у них — старая, щелястая, чуть ли не ровесница ей самой, отец еще сам делал. Ночью и перебралась в коповскую избушку.

Хлеб был, крупа была, окуней в ручье ловила — удочки чьи-то под матицей на потолке нашла. Жила, мучилась от схваток, ждала со страхом, думала: тут ей и конец. Но ее бабки и прабабки рожали не в больницах — на полях в межу выкидывали. Родила и она, обошлось.

И опять жила, нянчилась, ловила окуней. Кон-



чился хлеб, что хуже — кончилась соль, пресная окуневая уха не лезла в горло. Да и надо было на что-то решаться — не вековать же в лесной избушке.

А к ребенку прикипела, но и страх перед деревней велик. То-то будет веселье: уехала одна, вернулась парой... А мать?.. Нет, нельзя, а куда деваться — на лесопункт в общежитие с ребенком не возьмут.

И обманула сама себя: «Гляну одним глазком и вернусь...» Но когда подгребала в полузалитой лодке к деревне, поняла на минуту: «Умрет же, быстро не обернешься, мать ночевать заставит...» И опять себя обманула: «Уж вырвусь как-нибудь... Только одним глазком...»

А дома беда — двери распахнуты, соседи толкутся, мать лежит на столе. Ей была уже послана телеграмма на лесопункт, и никто не удивился, что появилась в деревне. Одно горе задавило другое...

Она вспомнила о ребенке, когда возвращалась с кладбища, вспомнила равнодушно, так как жалела мать, — сразу жалеть мать и ребенка не хватило сил да и, пожалуй, душевной широты.

А в это время Трофим бродил по лесу с ее девочкой...

Через два дня очнулась от угара, вспомнила: какие крохотные ноготки были на пальчиках девочки, как она спала на руках, как припадала к груди... Села в лодку, гребла со стоном, даже не вычерпывала воду...

А изба встретила ее затхлостью, пустотой, холодом, валялись рваные тряпки на нарах, грязные следы на подметенном полу, под каменкой — березовое полено, оставшееся от охапки дров. И упала на пустые нары, рвала волосы, кричала дико: «Господи! Господи!». Неуютный осенний лес молчаливо слушал ее надрывный голос.

Примерно через неделю пришел слух в деревню, что у них по соседству, за озером, найден младенец. Всех особенно волновало, что по соседству. Событие, о котором судили и рядили во всем районе, оказывается, случилось рядом, а они-то не знали. Слух дошел и до нее.

Какие крохотные ноготки...

Какие маленькие ножки высывались из тряпок...

Мучительно вспоминала, какого цвета были глаза и не могла вспомнить...

А по деревне бабы чехвостили злыдню, сгубившую дитя. А соседи жалели. И если бы не эта жалость, то, пожалуй, хватило бы смелости крикнуть в глаза: «Люди добрые! Это я!» Оказывается, не так-то просто переступить через людскую жалость, граничащую с ненавистью.

Никому в голову не приходило ее подозревать, хотя всю гадали: кто же? Должно, из другой деревень, иначе знали бы, такое не скрывать...

Жить стало совсем невмочь. И вот...

— Кабы кто убил меня...

Стоит перед Трофимом, жметя к порогу, на следить на полу боится, а тюрьма, смерть — нет, не страшно, все награда. И Трофим чувствует себя раздавленным.

— Поведи меня куда надо. Поведи, ради Христа.

— И зачем ты, дура, это сделала?

— Поведи...

— Да куда же я поведу? Ночь скоро на дворе. Кто с тобой возиться сейчас будет?

— Все одно, поведи.

— Шагай домой.

— Не пойду. лягу здесь, не пойду!

— Я те лягу! Нужна мне такая гостья. Марш с глаз долой!

— Как быть-то? Куда обратиться?

— Сами найдут, будь спокойна.

— В деревню-то не могу, тошно там.

— Ты из какой деревни?

— Из Копновки ж...

— Ловка. Кто б мог подумать. А звать как?

— Клавдией... Ечина я, Ечина Клавдия Ивановна.

— Иди, не тревожь душу. И так тошно.

Она ушла.

Трофим сидел за столом, уронив голову. Завтра надо идти к следователю. И уж ясно, тот не подпрыгнет от радости — не такой она важный преступник.

«Преступник... Тоже мне... Эх, дура, дура... А не перестарался ли ты, Трофим? Не целишься ли снова плюнуть в уху?..»

8

Сон не шел. Лежал на спине, слушал, как тихо-тихо дышит жена. Она даже во сне не осмеливается шуметь.

Перед глазами стояла преступная девка — окаменевшее птичье лицо, остекляневшие пустые глаза и белое, нежное, взволнованно ходящее вверх-вниз горло. И эдакую-то считал — людям страшна.

«Ах, дура, и зачем только?.. А что, ежели решится?.. Ума хватит...»

Отстукивали ходики на стене, секунду за секундой склевывали время.

«А что, ежели в это самое время?.. Вот сейчас, в темной избе...»

Трофим даже приподнялся...

Стучали ходики, где-то далеко-далеко ворчала машина, видать, какие-то бедолаги застряли на размытой дороге.

«Сейчас может, кончается человеческая жизнь, а все кругом спят, все спокойны, некому схватить за руку, остановить.

Ум-то мушиный, ей ведь невдомек, что жизнь велика. Ох, велика — это перемелется, новое стрясется и снова пройдет... По ее аршину — белый свет от околицы до околицы, жизнь с комариный век...»

Стучат ходики, и лениво, лениво волочится бесконечная ночь.

«Надо бы разрешить, черт с ней, пусть бы примостилась тут у порога, а завтра — катись себе, объявляйся. А самому тащить эту дурочку за шиворот — была охота. Спросят — все скажу, как было, не утаю, а хлопотать, чтобы прижгли, нет уж, не стоит того... А ведь выслеживал, по деревням колесил, берег обнюхивал. Тоже умен на проверку-то».

Хотелось встать, накинуть пальто, бежать по ноци к черту на кулички: «Опомнись, непутевая!»

Он не смог уснуть ни на минуту. Едва только слезливый рассвет просочился сквозь окно, осторожно, чтобы не разбудить жену, слез с постели, захватил одежду, оделся, достал из шкафчика горбушку хлеба, сунул в карман.

Поговорит по-человечески, образумит. Только б не опоздать.

По дороге его нагнал ухарски расхлябанный грузовичок. Трофим проголосовал и проехал по большаку до поворота на Копновку, а там — рукой подать.

Деревня Копновка встретила его дремотной тишиной начинавшегося осеннего дня. Стыли в промозглом воздухе голые ветви берез, раскачивающиеся на себе почерневшие скворечники, зеленели мхом ветхие крыши. Женщина, выскочившая из дому налегке — только голова туго обмотана большим платком, — гнула к бревенчатому срубам колодца спесивую шею журавля.

И по этой неразбуженной тишине Трофим понял — в деревне ничего не случилось. Клавдия жива. Стало стыдно — дурак он, однако, ночь не спал, сорвался ни свет ни заря, гнал столько километров, а для чего?.. Жива, здорова, поди, и в мыслях-то не было...

Но уходить ни с чем, когда уж прискакал сюда, глупо. Увидится, скажет по-свойски, чтобы не вздумала удочить, хоть этим себе наперед покой устроит.

— Эй, кума! Где здесь живет Ечеина Клашка?

— Ты к какой? Котора померла?

— Померла?!

— У нас две их было — мать и дочь, обе Клавдии. Мать-то недавно — царствие ей небесное...

— Дочь-то жива ли?

— Плачет все, сохнет по матери-то. Никак не придет в себя, сердешная... Да вон тем порядком пойдешь, так направо четвертый дом, сразу за Леонтием Елькиным, у которого возля калитки старый жернов лежит. Найдешь ли?

И женщина долго смотрела вслед, должно быть, гадала: для чего понадобилась Клашка Ечеина это-

му самостоятельного вида мужику, которого, пожалуй, она примечала возле их деревни и раньше?

Иза была старая, громадная. Из крапивных за двором выползала она прямо на дорогу, стояла голая, открытая, ничем не огороженная — корабль из массивных щелястых бревен, выброшенный на сушу. Сходство с допотопным Ноевым ковчегом придавало и то, что длинная крыша была наполовину разобрана, на задах торчали, как ветхие снасти, полусгнившие стропила.

В лицо изба была кривой — все окна, кроме одного, заколочены. И это единственное целое окно глядело на Трофима с сиротливым старческим упреком: «Сколько вырастила людей — не одна сотня рожалась, жила, умирала под моей крышей, теперь вот скриплю, тужусь — тяжело, но уж недолго скрипеть».

Трофим подумал: «И со спокойной душой в одиночку в этой куче бревен запоешь лазаря».

Он поднялся на шаткое крыльцо:

— Есть кто живой?

Никто не ответил.

Трофим толкнул дверь в темные сенцы, толкнул вторую — в избу...

Сумеречная комнатка с тяжелой печью. На полу разводы воды, стоит ведро посередке. С грязной тряпкой в руках, босая, с обвисшим подолом — она, лицо неживое, серое, глаза, как и тогда, остеклявшиеся.

— Здравствуй... — сумрачно поприветствовал Трофим, с неприязнью оглядывая мокрый пол.

Она пошевелилась, опустила в ведро тряпку, вытерла о подол руки, спросила, казалось, спокойно:

— Собираться мне?

— Куда?

— Как куда?

— Поспеешь... — и взъелся: — Да что я тебе, милиция, что ли? Думалось, в петлю лезет, а она, нате вам, чистоту наводит. Вовремя.

— Надо же что-то делать, чтоб не думалось... Без дела-то рехнешься... Так я сейчас соберусь.

— Хороша и так, не женихаться к тебе пришел.

Она с тупым равнодушием стояла посреди недомытой избы, глядела своим странным, остановившимся взглядом, ждала.

Трофим не знал теперь, о чем говорить с ней. Уже не скажешь, что хотел сказать: «Опомнись, непутевая!» Ни вешаться, ни бросаться в озеро девушка не собиралась. Он чувствовал себя обманутым, особенно злило, что моет пол, наводит чистоту — значит рассчитывает здесь жить.

«Теперь вижу, какая змея. Вижу! А вчера-то пожелал было...»

Она молчала, не двигалась. По-прежнему беззащитное белое горло, пустые глаза, сама в обвисшей юбке, с опущенными руками, вся открытая, покорная — вот я, без хитрости, ругай, казни — стерплю. И эта покорность взорвала Трофима:

— Прикидываешься овечкой-ярочкой, горлышко подставляешь — режьте, мол, добрые люди! Расчет неумудренный — кому охота на живого человека нож подымать: «Кабы кто убил меня...» Ха! Кабы кто... Уж коль жить невтерпеж, чего просить. Найди гвоздь потолще и веревку покрепче...

И она вдруг закрыла мокрыми руками лицо, колени подогнулись, рухнула на пол, сшибла ведро, потекла по полу серая жижа.

— Ну, вот... — растерялся Трофим.

Она лежала, уткнувшись лицом в недомытый пол, сухие космы длинных нечесаных волос мокли в раз-



литой луже, узкая спина с выпирающими косточками содрогалась под тонкой кофтой.

Трофим глядел на нее и молчал: бежал же с добром, спасти хотел, а вместо доброго слова — нож под ребро. Разве не распрюклятый...

— Эй, девка... Да хватит, хватит, нечего зря-тс...

Она беззвучно рыдала.

— Да, право... Ну, сорвалось с языка. Не хотел обидеть... Встань, давай, встань...

Дотронулся до плеча — головы не подняла, вздрогнула, поежилась. И он распрямился, затоптался, кося на нее глаза, не зная, что делать.

— Встань,— попросил он,— поговорим по душам...

Плечи ее перестали сотрясаться, но продолжала лежать, как и лежала, концы сухих волос мокли в грязной луже на полу. Он неуклюже присел, подобрал волосы, с робкой неловкостью положил ей на спину.

— Слышь... Я зла тебе не хочу... Я и бежал-то сейчас — за тебя боялся. Слышишь или нет? Боялся же, сердце кровью обливалось...

Она зашевелилась, оперлась на ослабевшие руки, приподнялась, села. Заляпанная кофта, грязное лицо, сбившаяся юбка открывает острое голое колено, дрожащими пальцами провела по волосам. И только сейчас он заметил под грязными разводами на лице нездоровую прозрачность кожи, удручающую синеву под глазами, понял, что она больна, и сжалось сердце.

Она со всхлипом, как ребенок после плача, вздохнула, виновато с какой-то усталой простотой сказала:

— Боязно... Хотела да боязно...

— Ты о чем?

— О том, что ты говорил.

— Брось это!..

— Чего зря на людей-то надеяться, самой надо...

— Брось! Я же вгорячах. Дернуло за язык. Забудь!

От жалости, от страха — чего доброго, надоумил — стал смелее, взял за плечи, помог подняться, подвел к лавке.

— Поговорим по душам.

Она сидела, чуть горбятя спину, свесив руки вдоль тела, глядела перед собой, мимо валявшегося на полу ведра.

— Да очнись ты! По душам хочу...

Не пошевелилась, не отвела взгляда от невидимой точки, спросила, словно обращалась к печке:

— Со мной? По душам?

— А то на твой угол помолиться из городу прибежал.

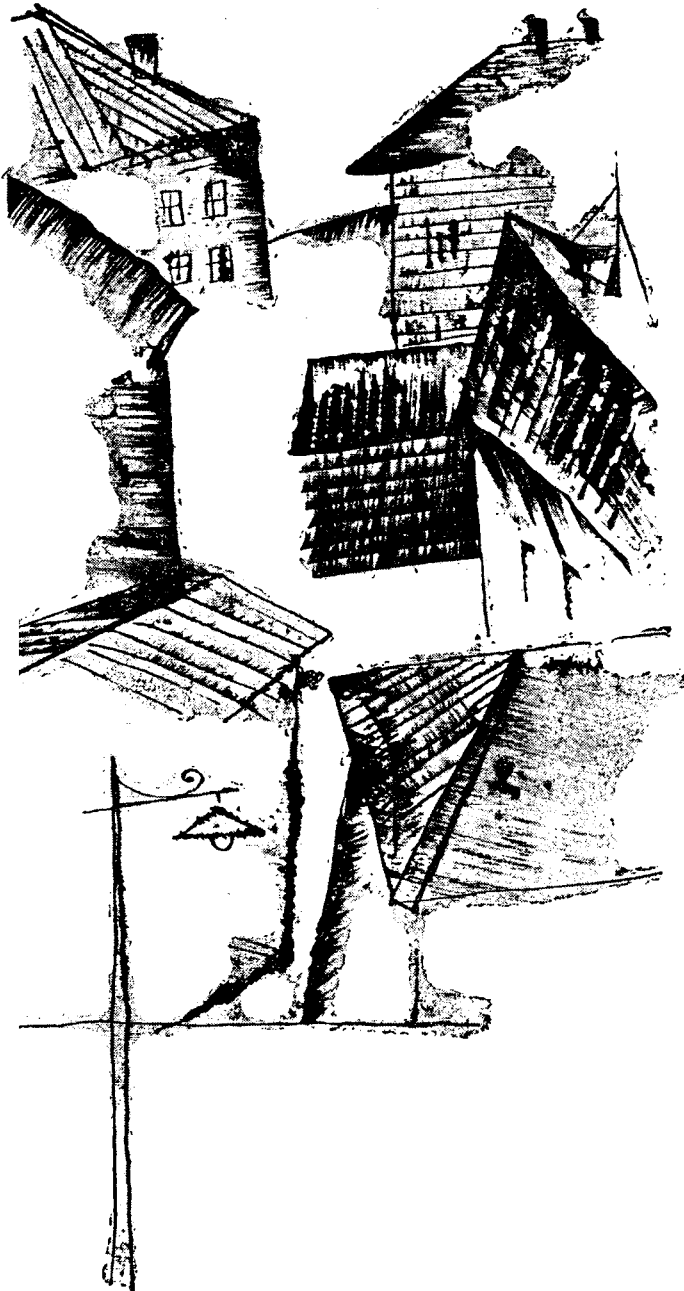
— У меня, поди, души-то нету... Выело.

— Ду-ра!

— И что тебе до моей души? Ведь я паскудная. Что тебе до меня?

— Что?! — Он встал перед ней, большой, едва ли не достающий шапкой до темной низкой потолочной матицы, жестко шуршащий покоровившимся плащом, с сухо горящими глазами, протянул громадные, раздавленные веслами ладони. — Что?.. Ты видишь эти руки? Нес ими твоего ребенка. Спасти хотел. В это-то ты веришь, что не для корысти, не для того, чтоб славили. Чуть не сдох в лесу-то, а нес, думалось — спасу, к себе возьму. Веришь в это?.. А почему не веришь, что тебя спасти хочу? Тоже живой человек.

И она, вдавив грязный кулак в зубы, снова тихо заплакала.



— Сведи ты меня сейчас. Сведи, прошу. Легче будет...

— Пойдешь сама — держать не буду. Сам не поведу, да и не посоветую.

— Почему? Стою ж того.

— Каков расчет вести тебя? Ну, накажут, ну, срок дадут, упрячут тебя вместе с воровками да гулящими. Того и гляди, их науку переймешь. Та ли сейчас тебе нужна наука? Не-ет, коль хочешь того, иди, объявляйся. Я на себя не возьму доносить.

Она плакала, размазывая кулаком грязь.

— Все одно, жизнь моя кончена.

— Дура ты, дура. Кончена!.. Тебе сколько лет-то?

— Девятнадцать.

— Дура ты, дура.. Ты еще четырежды столько проживешь. Еще человеком станешь, замуж выйдешь, детей нарожаешь... Ну, ну, не плачь, в молодости-то так ожечься... Помнить будешь, как самой больно было, а значит, и других поймешь — у кого что болит. У меня жизнь тоже косо вышла... Я вот тебе помогу, может, и ты когда кому поможешь — не отплюнешься, не открестишься...

Она плакала, а он стоял над ней и говорил грубо

и властно, пряча нежность и жалость. Она растирала кулаком слезы, убито смотрела в сторону, слушала.

9

После первых морозов, когда озеро сковало льдом и от деревни Колновки до лесной избушки можно дойти напрямиком, не замочив ног, Трофим отправил Клавдию на лесопункт, дал денег и грубоватое наставление:

— Не живи дикой-то.

А она всплакнула:

— Бывают же такие люди на свете...

Они расстались, он шагал по чугунно-смерзшейся дороге, бережно нес в себе благодатную усталость путника, дошедшего до конца пути. И еще с такой усталостью после погожего весеннего дня возвращаются с поля — вспахано, засеяно, гудят кости.

Больше о Клавдии он не слышал. До сих пор он работает на старом месте, случается хватает за рукав слишком развольничавшихся рыбаков. Дело есть дело, не все святы и честны, кто-то должен наводить окорот. И многие по привычке зовут его «Каргой».

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ

АНТОМОНОВ Ю. Г. и КАЗАКОВЦЕВ В. С. — Кибернетика — антирелигия. М., «Сов. Россия».

БАРЫКИН М. Д. — Разум разумных отвергнув... Куйбышев. Кн. изд.

В борьбе за человека [Сборник]. М., «Сов. Россия».

В делах земных мы видим чудеса. Методическая разработка устного журнала на атеистическую тему. Минск. «Полымя».

ДРУЯНОВ Л. А. О несовместимости естествознания и религии. М., О-во «Знание» РСФСР.

Завоевание космоса и вера в бога [Сборник]. М., «Знание».

КАЖДАН А. П. и ЗАБОРОВ М. А. — У истоков веры. М., «Сов. Россия».

Когда восходит солнце [Сборник]. М., «Мол. гвардия».

НИКОНЕНКО С. С. Легенда о Иисусе Христе. М., Сов. Россия».

Ответы верующим [Попул. справочник]. Вып. I (2-е изд.). М., Политиздат.

ПЕТРЕНКО Л. С. Потерянные годы. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд.

Почему мы отреклись от религии [Сборник]. Фрунзе. «Кыргызстан».

Правда о библейских заповедях. Воронеж. «Коммуна».